

Benjamin Disraeli, Karl Marx and the Search for Identity

I

ALL Jews who are at all conscious of their identity as Jews are steeped in history. They have longer memories, they are aware of a longer continuity as a community than any other which has survived. The bonds that unite them have proved stronger than the weapons of their persecutors and detractors; and stronger than a far more insidious weapon: the persuasions of their own brothers, fellow Jews who, at times, with much sincerity and skill try to argue that these bonds are not as strong or as peculiar as they seem, that the Jews are united by no more than a common religion, or common suffering, that their differences are greater than their similarities, and therefore that a more enlightened way of life – liberal, rationalist, socialist, communist – will cause them to dissolve peacefully as a group into their social and national environment – that at most their unity may come to be no greater than that of, say, Unitarians, Buddhists, vegetarians, or any other world-wide group, sharing certain common, not always too passionately held, convictions. If this had been true, there would not have been enough vitality, not enough desire to live a common life, to have made colonisation of Palestine, and ultimately the state of Israel, possible. Whatever other factors may have entered into the unique amalgam which, if not always Jews themselves, at any rate the rest of the world instantly recognises as the Jewish people, historical consciousness – sense of continuity with the past – is among the most powerful.

The nineteenth-century Russian revolutionary, Herzen, said of his own country that its strength lay not in history, of which it did not have a great deal, but in geography – the extent of its territory, barbarous but vast. The Jews could reasonably say that what they have lacked at all times is geography – enough soil to live on and develop – for of history they have had, if anything, more than enough. The late

Исайя Берлин, из книги «Против течения. Очерки истории идей», 1979 г.

Бенджамин Дизраэли, Карл Маркс и Поиск идентичности

I

Все евреи, которые вообще осознают свою идентичность как евреев, погружены в историю. У них более долгая память, они осознают более длительную преемственность как сообщества, чем любое другое, которое выжило. Узы, которые их объединяют, оказались сильнее оружия их преследователей и недоброжелателей; и сильнее, чем гораздо более коварное оружие: убеждения их собственных братьев, собратьев-евреев, которые порой с большой искренностью и мастерством пытаются утверждать, что эти узы не так сильны или своеобразны, как кажутся, что евреев объединяет не более чем общая религия или общее страдание, что их различия больше, чем их сходства, и поэтому более просвещенный образ жизни — либеральный, рационалистический, социалистический, коммунистический — заставит их мирно раствориться как группу в их социальной и национальной среде — что в лучшем случае их единство может оказаться не большим, чем единство, скажем, унитарянцев, буддистов, вегетарианцев или любой другой всемирной группы, разделяющей определенные общие, не всегда слишком страстно поддерживаемые убеждения. Если бы это было правдой, не было бы достаточной жизненной силы, недостаточного желания жить общей жизнью, чтобы сделать возможной колонизацию Палестины и, в конечном счете, государство Израиль. Какие бы другие факторы ни входили в уникальную амальгаму, которую, если не всегда сами евреи, то, по крайней мере, остальной мир мгновенно распознает как еврейский народ, историческое сознание — чувство преемственности с прошлым — является одним из самых мощных.

Русский революционер девятнадцатого века Герцен сказал о своей стране, что ее сила не в истории, которой у нее было не так уж много, а в географии — в размерах ее территории, варварской, но огромной. Евреи могли бы резонно сказать, что им во все времена не хватало географии — достаточно почвы, чтобы жить и развиваться, — ибо истории у них было, если что, более чем достаточно. Покойный

Lewis Namier once told me that upon being asked by a splendid English peer why he, a Jew, devoted himself to writing English history, and not Jewish history, he replied: 'Derby! There *is* no modern Jewish history. There is only a Jewish martyrology, and that is not amusing enough for me.' This was in character and no doubt was mainly intended to put the thoughtless peer in his place. But there is a certain truth in it. The annals of the Jews between the destruction of the Second Temple and comparatively recent times is indeed largely a story of persecution and martyrdom, weakness and heroism, an unbroken struggle against greater odds than any other human community has ever had to contend with. Nevertheless, from the point of view of the historian of the Jews, the task was rendered relatively easier by the fact that inasmuch as systematic and concerted persecution, mainly by Christians, but to some degree also by Moslems, drove the Jews into the confined spaces of ghettos, Pales of Settlement, and the like, their communal history was made thereby only too painfully easy to identify, describe and analyse. It certainly seemed to have been so in Europe at any rate until the eighteenth century. Individual Jews left their communities and lived among gentiles; sometimes they accepted baptism, at other times they secretly practised the whole or some part of their ancestral religion, or, like Spinoza, were open heretics, abjured by their own community, and treated with, at best, nervous respect by the larger society in which they lived, but with which they never became wholly identified. There were not many of these. Hence the question of who was and who was not a Jew in the ancient world or the Middle Ages, or during the Renaissance and its aftermath, is not a grave historical problem.

If we are to attempt a rough periodisation of Jewish history, we could say that there are at least three main periods in it: (1) while they lived in their own land, with colonies dispersed not very widely in Asia Minor or North Africa; (2) the medieval Diaspora, where they lived in insulated groups and where their fortunes, at least in theory, can, for this very reason, be followed without too much difficulty; (3) after emancipation. Here genuine difficulties for historians arise: what is, and what is not, Jewish history? Who belongs to it, and who does not? The social, intellectual and religious history of the eastern communities clearly does. So does that of the Russo-Polish Pale of Settlement. But what are we to say of the western Jews? Is it possible to trace the history of their institutions as a community? In England, where their history is one of the most fortunate in this period, it is least

Льюис Нэмир однажды рассказал мне, что когда один знатный английский пэр спросил его, почему он, еврей, посвятил себя написанию английской истории, а не еврейской, он ответил: «*Gonimite!* Никакой современной еврейской истории не существует. Есть только еврейский мартиролог, и это меня мало занимает». Это было в его характере и, без сомнения, было в основном направлено на то, чтобы поставить беспечного пэра на место. Но в этом есть определенная правда. Летопись евреев между разрушением Второго Храма и сравнительно недавними временами действительно в значительной степени является историей преследований и мученичества, слабости и героизма, непрерывной борьбы с большими трудностями, чем когда-либо приходилось иметь дело любому другому человеческому сообществу. Тем не менее, с точки зрения историка евреев, задача была сравнительно облегчена тем фактом, что, поскольку систематические и согласованные преследования, в основном со стороны христиан, но в некоторой степени также и мусульман, загнали евреев в замкнутые пространства гетто, черты оседлости и тому подобное, их общинная история стала тем самым слишком уж легкой для идентификации, описания и анализа. Так, безусловно, было в Европе, по крайней мере, до восемнадцатого века. Отдельные евреи покидали свои общины и жили среди неевреев; иногда они принимали крещение, в других случаях они тайно практиковали всю или часть своей религии предков или, как Спиноза, были открытыми еретиками, отрекшимися от своей собственной общины, и к ним относилось, в лучшем случае, с нервным уважением более широкое общество, в котором они жили, но с которым они никогда не отождествлялись полностью. Таких было немного. Поэтому вопрос о том, кто был и кто не был евреем в Древнем мире или в Средние века, или в эпоху Возрождения и после нее, не является серьезной исторической проблемой.

Если попытаться дать грубую периодизацию еврейской истории, то можно сказать, что в ней есть по крайней мере три основных периода: (i) когда они жили на своей собственной земле, с колониями, не очень широко разбросанными по Малой Азии или Северной Африке; (2) средневековая диаспора, где они жили изолированными группами и где их судьба, по крайней мере теоретически, может быть, по этой самой причине, прослежена без особых трудностей; (3) после эмансипации. Здесь возникают настоящие трудности для историков: что является, а что не является еврейской историей? Кто принадлежит к ней, а кто нет? Социальная, интеллектуальная и религиозная история восточных общин, очевидно, принадлежит. Так же как и история русско-польской черты оседлости. Но что мы можем сказать о западных евреях? Возможно ли проследить историю их институтов как общины? В Англии, где их история является одной из самых удачных в этот период, она наименее

dramatic and of least interest to those like Namier, who like colour and movement and the play of complex personalities and situations. Happy periods, as Hegel said, are blank pages in the volume of history.

But now a problem arises: is the history of individuals of Jewish origin, or even the Jewish faith, also part and parcel of Jewish history? Most historians of the Jews mention such figures as, say, Joseph of Naxos, or Spinoza, when historians of Italy would scarcely count Cardinals Mazarin or Alberoni or Marie de Médicis as figures in Italian history. This is rendered plausible because, until modern times, serious problems of identification scarcely arise: Plutarch was not faced with the question of whether he was a Greek or a Roman; Josephus was in no doubt about his identity; Spinoza did not ask himself whether he was or was not truly a Dutchman. The dissolution of corporations by the European nation-states and their claim to total allegiance altered this picture and led to conflicts of loyalty. This crisis began for the Jews later than it did for their neighbours; it became explicit when the gates of the ghettos were opened, and Jews began, timidly at first, then with growing confidence and success, to mingle with their fellow-citizens of other faiths, and increasingly to share in their common life, both public and private. Where, in recent history, are we to draw the line between the history of the Jews as such and the history of the larger societies of which they happen to be members? We are all familiar with those somewhat pathetic lists of contributions to general culture with which apologists for the Jews have sought to remind their detractors how much Christian civilisation owes them. Are the lives and the achievements of Heine, Felix Mendelssohn, Ricardo, part of the history of the Jews? Or, if these are excluded on the ground of their baptism, what are we to say of – to take random examples from the last century – Lassalle, Meyerbeer, Pissarro, who were not baptised but had special bonds with institutional Jewish life? We do not speak of Francis Bacon or John Stuart Mill or Russell as Christian thinkers, however dissident; should we, nevertheless, look upon Husserl or Bergson or Freud as Jewish thinkers in some special sense?

This very question raises the ancient problem, which has been brought home to us so directly now, as a result both of the most fearful genocide in history and the creation of a Jewish state – the problem, ‘What is a Jew?’ What is his relation to the rest of his society? In what sense is it, and in what sense is it not, ‘his’ society? Are the differences between him and other members of it analogous to other, more fami-

драматичный и наименее интересный для таких, как Нэмир, которые любят цвет и движение, а также игру сложных личностей и ситуаций. Счастливые периоды, как сказал Гегель, — это пустые страницы в томе истории.

Но теперь возникает проблема: является ли история людей еврейского происхождения или даже еврейская вера также неотъемлемой частью еврейской истории? Большинство историков евреев упоминают такие фигуры, как, скажем, Иосиф Наксосский или Спиноза, в то время как историки Италии вряд ли считали бы кардиналов Мазарини, Альберони или Марию Медичи фигурами в итальянской истории. Это кажется правдоподобным, потому что до недавнего времени серьезные проблемы идентификации почти не возникали: Плутарх не сталкивался с вопросом, был ли он греком или римлянином; Иосиф не сомневался в своей идентичности; Спиноза не спрашивал себя, был ли он настоящим голландцем или нет. Роспуск корпораций европейскими национальными государствами и их претензии на полную преданность изменили эту картину и привели к конфликтам лояльности. Этот кризис начался для евреев позже, чем для их соседей; это стало очевидным, когда ворота гетто были открыты, и евреи начали, сначала робко, а затем с растущей уверенностью и успехом, смешиваться со своими согражданами других вероисповеданий и все больше разделять их общую жизнь, как общественную, так и личную. Где в недавней истории мы должны провести границу между историей евреев как таковых и историей более крупных обществ, членами которых они оказались? Мы все знакомы с этими несколько жалкими списками вкладов в общую культуру, с помощью которых апологеты евреев пытались напомнить своим недоброжелателям, как многим им обязана христианская цивилизация. Являются ли жизни и достижения Гейне, Феликса Мендельсона, Рикардо частью истории евреев? Или, если их исключить по причине их крещения, что мы должны сказать — если взять случайные примеры из прошлого века — о Лассале, Мейербере, Писсарро, которые не были крещены, но имели особые связи с институциональной еврейской жизнью? Мы не говорим о Фрэнсисе Бэконе, Джоне Стюарте Милле или Расселе как о христианских мыслителях, какими бы диссидентскими они ни были; должны ли мы, тем не менее, рассматривать Гуссерля, Бергсона или Фрейда как еврейских мыслителей в каком-то особом смысле?

Этот самый вопрос поднимает древнюю проблему, которая сейчас так непосредственно дошла до нас в результате как самого страшного геноцида в истории, так и создания еврейского государства — проблему: «Кто такой еврей?» Каковы его отношения с остальной частью его общества? В каком смысле это общество является, а в каком смысле нет, «его» обществом? Аналогичны ли различия между ним и другими его членами другим, более родственным

liar differences, which divide classes, professions, churches and other social groups, within what are normally regarded as single social wholes – states, nations, countries?

This problem became particularly acute after the French Revolution for those who were released from the ancient prison house and were moving into the light of day, out of the confinement of the ghettos – or what were so in fact if not in name – of the western world. The liberation had been relatively sudden: the problems of adjustment had not been prepared for. Some recoiled before the prospect of a strange, wider world, and preferred to linger in the shadows of the narrow but familiar place of ancient confinement. Others, the most eager, the most ambitious and most idealistic and optimistic, went towards the light with passionate hopes. Some successfully assimilated with their new brothers, changed their faith, or, at any rate, their habits, with evidently no great agony or expense of spirit, like the Jewish banker Gideon in eighteenth-century England, whose name is all but forgotten today; like the economist David Ricardo or those eminent financiers and railway-builders, the Sephardic disciples of Saint-Simon. Others, for a variety of reasons, but often psychological causes – some unsundering quality in their temperament – sometimes against their conscious wills, felt incapable of assimilation, incapable of the degree of accommodation which those who seek to alter their habits radically must achieve, and at times remained betwixt and between, unmoored from one bank without reaching the other, tantalised but incapable of yielding, complicated, somewhat tormented figures, floating in midstream, or, to change the metaphor, wandering in a no-man's-land, liable to waves of self-pity, aggressive arrogance, exaggerated pride in those very attributes which divided them from their fellows; with alternating bouts of self-contempt and self-hatred, feeling themselves to be objects of scorn or antipathy to those very members of the new society by whom they most wished to be recognised and respected. This is a well-known condition of men forced into an alien culture, by no means confined to the Jews; it is a well-known neurosis in an age of nationalism in which self-identification with a dominant group becomes supremely important, but, for some individuals, abnormally difficult. Anyone who reads the letters, for example, of Ferruccio Busoni, the half-Italian, half-German-Jewish musician, will realise that his life was torn by such tensions. Hilaire Belloc's exaggerated violence of style and opinion is traceable to his insecure position in English

существенные различия, которые разделяют классы, профессии, церкви и другие социальные группы внутри того, что обычно рассматривается как единое социальное целое — государства, нации, страны?

Эта проблема стала особенно острой после Французской революции для тех, кто освободился из старой тюрьмы и вышел на свет, из плена гетто.

— или то, что было таковым на самом деле, если не по названию — западного мира. Освобождение было относительно внезапным: проблемы приспособления не были готовы. Некоторые отшатнулись перед перспективой чужого, более обширного мира и предпочли задержаться в тени узкого, но знакомого места древнего заключения. Другие, самые рьяные, самые амбициозные, самые идеалистичные и оптимистичные, двинулись к свету со страстными надеждами. Некоторые успешно ассимилировались со своими новыми братьями, изменили свою веру или, во всяком случае, свои привычки, очевидно, без особых мук или затрат духа, как еврейский банкир Гидеон в Англии восемнадцатого века, чье имя сегодня почти забыто; как экономист Давид Рикардо или те выдающиеся финансисты и строители железных дорог, сефардские ученики Сен-Симона. Другие, по разным причинам, но часто психологическим — некоему непреклонному качеству своего темперамента — иногда против своей сознательной воли чувствовали себя неспособными к ассимиляции, неспособными к той степени приспособления, которой должны достичь те, кто стремится радикально изменить свои привычки, и порой оставались где-то посередине, оторвавшись от одного берега, но не достигнув другого, мучимые, но неспособные уступить, сложные, несколько измученные фигуры, плывущие по течению или, если использовать другую метафору, блуждающие по нейтральной полосе, подверженные волнам жалости к себе, агрессивного высокомерия, преувеличенной гордости за те самые качества, которые отделяли их от своих собратьев; с чередующимися приступами презрения к себе и ненависти к себе, чувствуя себя объектами презрения или антипатии со стороны тех самых членов нового общества, признания и уважения со стороны которых они больше всего хотели. Это хорошо известное состояние людей, насильно втиснутых в чуждую культуру, никоим образом не ограниченное евреями; это хорошо известный невроз в эпоху национализма, в которой самоидентификация с доминирующей группой становится чрезвычайно важной, но для некоторых людей ненормально трудной. Любой, кто прочтет письма, например, Ферруччо Бузони, наполовину итальянца, наполовину немецко-еврейского музыканта, поймет, что его жизнь была разорвана такими напряжениями. Преувеличенная жестокость стиля и мнения Илера Беллока прослеживается в его неуверенной позиции в английском языке

society, something of which he was not unaware. There are a great many less-known figures who belong to what in the United States are called hyphenated groups,¹ recent immigrants not fully integrated into the new life of a foreign land. But the most vivid examples of this malaise can be found among the most famous and gifted of all the wandering tribes of men – the Jews of the west who had lost the supporting framework of the rigorous discipline of their faith, and stood facing a new and by no means friendly world, marvellous but dangerous, in which any untoward step might be fatal, but the rewards were correspondingly great, where ignorance, anxiety, ambition, danger, hope, fear, all fed the imagination. Over-anxiety to enter into a heritage not obviously one's own can be self-defeating, lead to over-eager desire for immediate acceptance, hopes held out, then betrayed: to unrequited love, frustration, resentment, bitterness, although it also sharpens the perceptions, and, like the grit which rubs against an oyster, causes suffering from which pearls of genius sometimes spring.

This was the fate of the first generation of gifted and ambitious Jews to seek admission to the outer world. Everyone knows the story of Ludwig Börne and Heinrich Heine,² to whom their anomalous status became a kind of obsession. The more they insisted that they were Germans, true heirs of German culture, concerned only about German values, or at any rate about bringing the fruits of enlightenment to their compatriots, the less German they seemed to these same Germans. The search for security seems to those who are secure a symptom of abnormality, and often irritates them. Less temperamental and quieter personalities among the Jews slipped through the doors of the European world unperceived. Their children mingled peacefully and naturally with its inhabitants. The bolder spirits hammered upon the gates, attracted unwelcome attention, were admitted grudgingly, and never attained to complete ease in their new surroundings. They resorted to various expedients in order to keep going, to triumph over their disabilities, to convince the others of their good faith, of their

¹ Italian-American, Greek-American etc.

² Heine, of course, identified himself with the Jewish community to a far greater extent than Börne ever did, at any rate before his baptism; but even after it, in his alternating moods of mocking irony and sentimental attachment to the old religion, and in particular the Old Testament, he never severed himself spiritually from it, as other Jewish converts of his time, for example Stahl or Mendelssohn's daughters and their brother who changed his name to Bartholdy, clearly did.

общество, о котором он не знал. Существует множество менее известных фигур, которые принадлежат к тому, что в Соединенных Штатах называется дефисными группами,¹ недавние иммигранты, не полностью интегрировавшиеся в новую жизнь чужой страны. Но самые яркие примеры этого недуга можно найти среди самых известных и одаренных из всех странствующих племен людей — евреев Запада, которые утратили опорную структуру строгой дисциплины своей веры и оказались лицом к лицу с новым и отнюдь не дружелюбным миром, чудесным, но опасным, в котором любой неверный шаг мог оказаться фатальным, но награда была соответственно велика, где невежество, беспокойство, амбиции, опасность, надежда, страх — все это питало воображение. Чрезмерное беспокойство о вступлении в наследие, которое явно не твое, может быть саморазрушительным, вести к чрезмерному желанию немедленного принятия, надеждам, которые возлагались, а затем были преданы: к безответной любви, разочарованию, обиде, горечи, хотя оно также обостряет восприятие и, подобно песчинке, которая трётся об устрицу, вызывает страдания, из которых иногда рождаются жемчужины гения.

Такова была судьба первого поколения одаренных и амбициозных евреев, которые искали допуска во внешний мир. Все знают историю Людвиг Борне и Генриха Гейне,² для которых их аномальный статус стал своего рода навязчивой идеей. Чем больше они настаивали на том, что они немцы, истинные наследники немецкой культуры, озабоченные только немецкими ценностями или, по крайней мере, принесением плодов просвещения своим соотечественникам, тем менее немцами они казались этим же немцам. Поиск безопасности кажется тем, кто в безопасности, симптомом ненормальности и часто раздражает их. Менее темпераментные и более тихие личности среди евреев проскользнули через двери европейского мира незамеченными. Их дети мирно и естественно смешались с его обитателями. Более смелые духом стучали в ворота, привлекали нежелательное внимание, были приняты неохотно и никогда не достигли полного комфорта в своем новом окружении. Они прибегали к различным уловкам, чтобы продолжать идти, торжествовать над своими недостатками, убеждать других в своей доброй воле, в своей

¹Итало-американцы, греко-американцы и т. д.

²Гейне, конечно, отождествлял себя с еврейской общиной в гораздо большей степени, чем когда-либо это делал Борн, по крайней мере до своего крещения; но даже после него, в своих сменяющихся настроениях насмешливой иронии и сентиментальной привязанности к старой религии, и в частности к Ветхому Завету, он никогда не отделял себя духовно от нее, как это явно делали другие обращенные в иудаизм евреи его времени, например, дочери Шталя или Мендельсона и их брат, изменивший свое имя на Бартольди.

loyalty, of their genius, of their eligibility to the club. The more they protested, the more evidence they provided of the nature of the problem which they constituted and of the difficulties of any simple solution.

It is with two cardinal representatives of this peculiar historical and psychological predicament that I am concerned in this essay. I have chosen two men, both famous, influential, exceptionally gifted, to point my moral. They differ vastly from each other in obvious respects; yet they share in the particular qualities which I have touched upon, and were involved in a common situation.

It was Herder, the German philosopher of history, who first drew wide attention to the proposition that among elementary human needs – as basic as those for food, shelter, security, procreation, communication – is the need to belong to a particular group, united by some common links – especially language, collective memories, continuous life upon the same soil, to which some added characteristics of which we have heard much in our time – race, blood, religion, a sense of common mission, and the like. However greatly we may deplore the appalling consequences of the exaggeration or perversion of what in Herder was a peaceful and humanitarian doctrine, there can be no doubt that the world which succeeded the French Revolution in Europe was dominated by the principle of conscious cohesion, and the emergence of hitherto relatively suppressed groups – national, social, religious, political, and the like. In this age of the self-conscious solidarity of nations, of ethnic and linguistic minorities, of classes, parties, social orders, the question of what group a given individual belonged to, where he was naturally at home, became increasingly acute. The Jews were emancipated under the great banner of humanism, equality, toleration, internationalism, enlightened ideals in the name of which men rose against kings and priests, ignorance and privilege. Yet, as all students of history discover, the Revolution and the wars that followed unchained the aggressive forces of submerged nations, classes, movements, individuals. The Europe into which the victims of injustice and inequality were admitted was a world more and more dominated by the violent struggles of hitherto suppressed groups for liberty and self-determination, by nationalism, by ferocious competition for status, power, acquisition. The desire on the part of the most discriminated-against minority in history to be integrated, to be at one with respected members of mankind, was naturally overwhelming. The great eighteenth-century apostle of secular education for the

лояльности, их гениальности, их соответствия требованиям клуба. Чем больше они протестовали, тем больше доказательств они предоставляли относительно природы проблемы, которую они представляли, и трудностей любого простого решения.

Именно с двумя кардинальными представителями этого своеобразного исторического и психологического затруднения я и имею дело в этом эссе. Я выбрал двух мужчин, обоих известных, влиятельных, исключительно одаренных, чтобы указать на мою мораль. Они сильно отличаются друг от друга в очевидных отношениях; однако они разделяют особые качества, которых я коснулся, и были вовлечены в общую ситуацию.

Именно Гердер, немецкий философ истории, первым привлек широкое внимание к положению о том, что среди элементарных человеческих потребностей — столь же основополагающей, как потребность в пище, жилье, безопасности, продолжении рода, общении — является потребность принадлежать к определенной группе, объединенной некоторыми общими связями — особенно языком, коллективной памятью, непрерывной жизнью на одной и той же почве, к которым прибавились некоторые дополнительные характеристики, о которых мы много слышали в наше время — раса, кровь, религия, чувство общей миссии и тому подобное. Как бы мы ни сожалели об ужасающих последствиях преувеличения или извращения того, что у Гердера было мирной и гуманной доктриной, не может быть никаких сомнений в том, что мир, который последовал за Французской революцией в Европе, был во власти принципа сознательного сплочения и появления до сих пор относительно подавленных групп — национальных, социальных, религиозных, политических и тому подобных. В эту эпоху осознанной солидарности наций, этнических и языковых меньшинств, классов, партий, социальных порядков вопрос о том, к какой группе принадлежит данный человек, где он естественным образом находится дома, становился все более острым. Евреи были освобождены под великим знаменем гуманизма, равенства, терпимости, интернационализма, просвещенных идеалов, во имя которых люди восстали против королей и священников, невежества и привилегий. Однако, как обнаруживают все исследователи истории, Революция и последовавшие за ней войны высвободили агрессивные силы затопленных наций, классов, движений, отдельных лиц. Европа, в которую были допущены жертвы несправедливости и неравенства, была миром, все больше и больше подчиненным жестокой борьбе доселе подавленных групп за свободу и самоопределение, национализму, жестокой конкуренции за статус, власть, приобретения. Желание самого дискриминируемого меньшинства в истории интегрироваться, быть заодно с уважаемыми членами человечества, было, естественно, подавляющим. Великий апостол светского образования XVIII века для

Jews, Moses Mendelssohn, had wished them to attain to the social and educational and cultural level of their neighbours: to be as others are. The fact that one of his sons and both his daughters became Christian is not altogether surprising; how much Christian doctrine they believed remains uncertain. What is clear is that they wished to be at one with the enviable part of humanity, the upper, civilised, liberated section of it. Cultural and political unity, national, so-called 'organic', solidarity, these were among the watchwords of the day. To some of those who were outside this development, it seemed at times bathed in a golden light. It is a well-known psychological phenomenon that outsiders tend to idealise the land beyond the frontier on which their gaze is fixed. Those who are born in the solid security of a settled society, and remain full members of it, and look upon it as their natural home, tend to have a stronger sense of social reality: to see public life in reasonably just perspective, without the need to escape into political fantasy or romantic invention. This tendency to idealisation is most frequently found among those who belong to minorities which are to some degree excluded from participation in the central life of their community. They are liable to develop either exaggerated resentment of, or contempt for, the dominant majority, or else over-intense admiration or indeed worship for it, or, at times, a combination of the two, which leads both to unusual insights and – born of overwrought sensibilities – a neurotic distortion of the facts.

This has often been noticed in the case of political leaders who come from outside the society that they lead or, at any rate, from its edges, the outer marches of it. Napoleon's vision of France was not that of a Frenchman; Gambetta came from the southern borderlands, Stalin was a Georgian, Hitler an Austrian, Kipling came from India, de Valera was only half-Irish, Rosenberg came from Estonia, Theodor Herzl and Jabotinsky, as well as Trotsky, from the assimilated edges of the Jewish world – all these were men of fiery vision, whether noble or degraded, idealistic or perverted, which had its origin in wounds inflicted upon their *amour propre* and upon their insulted national consciousness, because they lived near the borders of the nation, where the pressure of other societies, of foreign civilisations, was strongest. Hugh Trevor-Roper has justly remarked that the most fanatical nationalism arises in centres where nationalities and cultures mingle, where friction is sharpest, in, for example, Vienna – to which could be added the Baltic provinces which formed Herder, the independent Duchy of Savoy, in which de Maistre, the father of French

Евреи, Моисей Мендельсон, желали, чтобы они достигли социального, образовательного и культурного уровня своих соседей: быть такими, как другие. Тот факт, что один из его сыновей и обе его дочери стали христианами, не совсем удивителен; насколько они верили в христианское учение, остается неясным. Ясно, что они хотели быть едиными с завидной частью человечества, его высшей, цивилизованной, освобожденной частью. Культурное и политическое единство, национальное, так называемое «органическое», солидарность — вот некоторые из лозунгов того времени. Некоторым из тех, кто находился вне этого развития, оно временами казалось купающимся в золотом свете. Это хорошо известный психологический феномен, когда аутсайдеры склонны идеализировать землю за границей, на которой устремлен их взгляд. Те, кто рождаются в прочной безопасности устоявшегося общества и остаются его полноправными членами и считают его своим естественным домом, склонны иметь более сильное чувство социальной реальности: видеть общественную жизнь в разумно справедливой перспективе, без необходимости уходить в политические фантазии или романтические выдумки. Эта тенденция к идеализации чаще всего встречается среди тех, кто принадлежит к меньшинствам, которые в какой-то степени исключены из участия в центральной жизни своего сообщества. Они склонны развивать либо преувеличенное негодование или презрение к доминирующему большинству, либо чрезмерное восхищение или даже поклонение ему, или, порой, сочетание того и другого, что приводит как к необычным прозрениям, так и — рожденному чрезмерной чувствительностью — невротическому искажению фактов.

Это часто замечалось в случае политических лидеров, которые приходили из-за пределов общества, которым они руководили, или, по крайней мере, с его окраин, с его внешних границ. Наполеон видел Францию не как француз; Гамбетта был выходцем с южных окраин, Сталин был грузином, Гитлер — австрийцем, Киплинг — из Индии, де Валера был лишь наполовину ирландцем, Розенберг — из Эстонии, Теодор Герцль и Жаботинский, а также Троцкий — из ассимилированных окраин еврейского мира — все они были людьми пламенного видения, благородного или деградировавшего, идеалистического или извращенного, которое берет свое начало в ранах, нанесенных *их любовью к себе* на их оскорбленном национальном сознании, потому что они жили вблизи границ нации, где давление других обществ, иностранных цивилизаций было сильнее всего. Хью Тревор-Ропер справедливо заметил, что наиболее фанатичный национализм возникает в центрах, где смешиваются национальности и культуры, где трение наиболее остро, например, в Вене — к которой можно добавить балтийские провинции, которые образовали Гердер, независимое герцогство Савойское, в котором де Местр, отец французского

chauvinism, was born and bred, or Lorraine, in the case of Barrès or de Gaulle. It is in these outlying provinces that the ideal vision of the people or the nation as it should be, as one sees it with the eyes of faith, whatever the actual facts, is generated and grows fervent.

It is, therefore, not surprising to find this same process in the case of the newly emancipated members of a community which, being a minority everywhere, longed to identify itself with the majority, men who saw themselves in their daydreams as being recognised at last, granted equality and status, or, in the case of more passionate temperaments, as lifted from the status of liberated slaves to that of masters who determine the fate of others. But even if the imagination of such members of excluded groups did not reach this pitch of ardour, they looked for liberation from their anomalous, and often inferior, social status. This tended to take two forms: either conscious demands for equality or superiority, struggles for self-determination and independence on the part of submerged nations, for conquest and glory on the part of rising empires, for social or economic recognition or domination by militant classes, religious communities, churches, and other human groups. That was one form. The history of nationalism, of socialism, of clerical and anti-clerical movements, of imperialism, militarism, fascism, racial conflict and the like, is familiar enough to us today.

But there is also another form of this craving for recognition: and that is an effort to escape from the weakness and humiliation of a depressed or wounded social group by identifying oneself with some other group or movement that is free from the defects of one's original condition: consisting in an attempt to acquire a new personality, and that which goes with it, a new set of clothing, a new set of values, habits, new armour which does not press upon the old wounds, on the old scars left by the chains one wore as a slave. That is indeed the point of armies, discipline, uniforms. Men who feel lost and defenceless in their original condition are transformed into brave and disciplined fighters when they are given a brand new cause to fight for, especially one which can historically be connected with real or imaginary past glories. Irishmen, demoralised in conquered Ireland, fought magnificently in British or American armies. Bohemians, crushed by Austria, performed feats of valour in the Czech Legion. Theodor Herzl knew what he was about when he compelled his bewildered followers at the first Zionist Congress to wear the most formal possible dress in order to rise to the dignity and historical grandeur of the

шовинизм, родился и вырос, или Лотарингия, в случае Барреса или де Голля. Именно в этих отдаленных провинциях рождается и крепнет идеальное видение народа или нации, какой она должна быть, как ее видят глазами веры, каковы бы ни были реальные факты.

Поэтому неудивительно, что этот же процесс наблюдается в случае недавно освобожденных членов сообщества, которое, будучи меньшинством повсюду, стремилось идентифицировать себя с большинством, людей, которые в своих мечтах видели себя наконец признанными, получившими равенство и статус, или, в случае более страстных темпераментов, вознесенными со статуса освобожденных рабов до статуса хозяев, определяющих судьбу других. Но даже если воображение таких членов исключенных групп не достигало этого пика пыла, они искали освобождения от своего аномального и часто низшего социального статуса. Это, как правило, принимало две формы: либо сознательные требования равенства или превосходства, борьба за самоопределение и независимость со стороны погруженных наций, за завоевание и славу со стороны восходящих империй, за социальное или экономическое признание или господство воинствующих классов, религиозных общин, церквей и других человеческих групп. Это была одна форма. История национализма, социализма, клерикальных и антиклерикальных движений, империализма, милитаризма, фашизма, расовых конфликтов и тому подобного сегодня нам достаточно хорошо знакома.

Но есть и другая форма этой жажды признания: и это попытка уйти от слабости и унижения подавленной или раненой социальной группы путем идентификации себя с какой-то другой группой или движением, которое свободно от дефектов своего изначального состояния: заключающееся в попытке обрести новую личность и то, что с ней связано, новый комплект одежды, новый набор ценностей, привычек, новые доспехи, которые не давят на старые раны, на старые шрамы, оставленные цепями, которые человек носил как раб. В этом и заключается суть армий, дисциплины, униформы. Мужчины, которые чувствуют себя потерянными и незащищенными в своем изначальном состоянии, превращаются в храбрых и дисциплинированных бойцов, когда им дают совершенно новую причину для борьбы, особенно ту, которая может быть исторически связана с реальной или воображаемой прошлой славой. Ирландцы, деморализованные в завоеванной Ирландии, великолепно сражались в британских или американских армиях. Богемцы, раздавленные Австрией, совершали подвиги доблести в Чешском легионе. Теодор Герцль знал, что он делал, когда заставил своих сбитых с толку последователей на первом Сионистском конгрессе надеть максимально официальную одежду, чтобы «подняться до достоинства и исторического величия

occasion – an occasion which was to lead to their spiritual and material metamorphosis from a collection of disorganised individuals into a national movement. Herzl's demand for ceremonial was regarded by the more doubting delegates from eastern Europe, including Weizmann, with ill-disguised irony and scepticism. Weizmann recognised his error in due course. To acquire a new persona, to shed the emblems of servitude and inferiority, and don the garments and badges, acquire the gestures and habits and style of life, of free men – that was the natural craving of a good many members of hitherto oppressed groups standing on the threshold – so at any rate they hoped – of a new life of equality, dignity, and a career open to their hitherto frustrated talents. Such was the new hope given by Napoleon's victories to the Jews of the Rhineland, a great storm blowing down the ancient feudal restrictions, destroying ghettos, raising their denizens to their full stature as human beings; a new beginning which Heine, who lived through it, half-celebrated, half-derided, as he did everything. The winds of change, unleashed by events abroad, began to blow in England too. It is the psychological peculiarity of this situation that I should like to illustrate by the reactions of the two very dissimilar men, Benjamin Disraeli and Karl Marx.

II

At first the contrast between them must seem very sharp: the first a somewhat fantastic figure, an ambitious opportunist, a social and political adventurer, flamboyant, over-dressed, the epitome of dandyism and artificiality: rings on his gloved fingers, elaborate ringlets of hair falling about his pale, exotic features, with his fancy waistcoats, his rococo eloquence, his epigrams, his malice, his flattery, and his dazzling social and political gifts, admired but distrusted and by some feared and loathed, a Pied Piper leading a bemused collection of dukes, earls, solid country gentlemen, and burly farmers, one of the oddest and most fantastic phenomena of the entire nineteenth century. And on the other side, a grim and poverty-stricken subversive pamphleteer, a bitter, lonely and fanatical exile, hurling imprecations against the rich and the powerful, a remorseless plotter, preparing the doom of the accursed class of exploiters and enemies of the workers; a single-minded and solitary worker in the British Museum, who with his pen has caused a greater transformation in the world than heads of state

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

повод — повод, который должен был привести к их духовной и материальной метаморфозе из собрания неорганизованных индивидуумов в национальное движение. Требование Герцля о церемониале было воспринято более сомневающимися делегатами из Восточной Европы, включая Вейцмана, с плохо скрываемой иронией и скептицизмом. Вейцман со временем признал свою ошибку. Обрести новую личность, сбросить эмблемы рабства и неполноценности и надеть одежды и значки, приобрести жесты, привычки и стиль жизни свободных людей — таково было естественное стремление многих членов доселе угнетенных групп, стоявших на пороге — так, по крайней мере, они надеялись — новой жизни равенства, достоинства и карьеры, открытой для их доселе не реализованных талантов. Такова была новая надежда, которую дали победы Наполеона евреям Рейнской области, великий шторм, снесший старые феодальные ограничения, уничтоживший гетто, поднявший их обитателей до их полного человеческого роста; новое начало, которое Гейне, переживший это, наполовину праздновал, наполовину высмеивал, как он делал все остальное. Ветры перемен, развязанные событиями за рубежом, начали дуть и в Англии. Именно психологическую особенность этой ситуации я хотел бы проиллюстрировать реакцией двух очень непохожих людей, Бенджамина Дизраэли и Карла Маркса.

Н

На первый взгляд контраст между ними должен показаться очень резким: первый — несколько фантастическая фигура, амбициозный оппортунист, социальный и политический авантюрист, яркий, чрезмерно разодетый, воплощение дендизма и искусственности: кольца на его затянутых в перчатки пальцах, замысловатые локоны волос, ниспадающие на его бледное, экзотическое лицо, с его причудливыми жилетами, его красноречием в стиле рококо, его эпиграммами, его злобой, его лестью и его ослепительными социальными и политическими дарованиями, вызывающими восхищение, но недоверие, а некоторые боялись и ненавидели, Крысолов, возглавляющий ошеломленную группу герцогов, графов, солидных сельских джентльменов и крепких фермеров, одно из самых странных и самых фантастических явлений всего девятнадцатого века. А с другой стороны — мрачный и нищий памфлетист-подрывник, ожесточённый, одинокий и фанатичный изгнанник, швыряющий проклятия богатым и сильным мира сего, беспощадный заговорщик, готовящий гибель проклятому классу эксплуататоров и врагов трудящихся; целеустремлённый и одинокий работник Британского музея, который своим пером вызвал в мире большие перемены, чем главы государств.

and soldiers and men of action. And yet there is a certain parallel to which I should like to call attention.

Their origins were not wholly dissimilar; neither came of celebrated ancestors. Disraeli's family appears to have come from Italy, and before that, if Cecil Roth is allowed his plausible conjecture, from the Levant. As for Karl Marx, his ancestors on both sides of his family were German, Hungarian and Polish rabbis. His paternal grandfather and great-grandfather were both rabbis in his native city of Trier. Karl Marx's father was the son of the rabbi Meier Halevy Marx, or Marx Levi, who married the daughter of Moses Lwow. Moses Lwow's father, Heschel Lwow, was chosen Rabbi of Trier in 1723, and was descended from rabbis in the Polish city whose name he bore; other ancestors were rabbis in Padua, Cracow and Mainz. Karl's earliest traceable ancestor migrated to Italy from Germany in the early fifteenth century. His maternal grandfather moved from Hungary to Holland, where he became a rabbi in Nijmegen. One daughter married Heschel Marx, Karl's father. The other married a banker named Philips, grandfather of the founder of the electrical firm which today has grown to world size. In both cases the families benefited socially from the opportunities offered by the Enlightenment in the second half of the eighteenth century.

There is, too, a certain psychological similarity between the fathers of these greatly, though perhaps unequally, gifted men. Isaac d'Israeli, who refused to enter the commercial career intended for him by his father Benjamin, was by all accounts a gentle and amiable minor man of letters, a bookish and unassuming compiler of entertaining miscellanies of anecdotes and odd English literary bric-à-brac. He was a good-natured and unpretentious man, and it was by these characteristics rather than by literary distinction that he won the patronage of eminent men of letters – Scott, Lockhart, Byron, Samuel Rogers – as well as the friendship of the publisher John Murray II, and became a welcome figure in the literary London society of his time. An affable host, almost a country gentleman,¹ an enlightened Tory with a passion for Charles I, he was irritated by the reiterated demands that he perform administrative functions in the Sephardi synagogue of London; he left it, and the Jewish community, easily. He seems to have been remote from any kind of passionate belief. If anything, he was

¹ André Maurois in his biography of Benjamin Disraeli seems to me to make too much of this. His book – *La Vie de Disraëli* (Paris, 1927) – reveals more about the author than about the subject.

БЕНДЖАМИН ДИЗРАЭЛИ И КАРЛ МАРКС

и солдаты и люди действия. И все же есть некая параллель, на которую я хотел бы обратить внимание.

Их происхождение не было полностью разным; ни один из них не происходил от знаменитых предков. Семья Дизраэли, по-видимому, прибыла из Италии, а до этого, если Сесил Рот позволительно сделать его правдоподобное предположение, из Леванта. Что касается Карла Маркса, его предками с обеих сторон были немецкие, венгерские и польские раввины. Его дед по отцовской линии и прадед оба были раввинами в его родном городе Трире. Отец Карла Маркса был сыном раввина Мейера Галеви Маркса, или Маркса Леви, который женился на дочери Моисея Львова. Отец Моисея Львова, Хешель Львов, был избран раввином Трира в 1723 году и происходил от раввинов в польском городе, имя которого он носил; другие предки были раввинами в Падуе, Кракове и Майнце. Самый ранний прослеживаемый предок Карла переехал в Италию из Германии в начале пятнадцатого века. Его дед по материнской линии переехал из Венгрии в Голландию, где стал раввином в Неймегене. Одна дочь вышла замуж за Хешеля Маркса, отца Карла. Другая вышла замуж за банкира по имени Филиппс, деда основателя электротехнической фирмы, которая сегодня выросла до мирового масштаба. В обоих случаях семьи извлекли социальную выгоду из возможностей, предоставленных Просвещением во второй половине восемнадцатого века.

Также существует определенное психологическое сходство между отцами этих весьма, хотя, возможно, и не в равной степени, одаренных людей. Исаак д'Израэли, который отказался заняться коммерческой карьерой, предназначенной для него его отцом Бенджамином, был, по всем данным, мягким и любезным мелким литератором, книжным и скромным составителем занимательных сборников анекдотов и странных английских литературных безделушек. Он был добродушным и непритязательным человеком, и именно благодаря этим характеристикам, а не литературным отличиям, он завоевал покровительство выдающихся литераторов — Скотта, Локхарта, Байрона, Сэмюэля Роджерса, — а также дружбу издателя Джона Мюррея II и стал желанной фигурой в литературном лондонском обществе своего времени. Приветливый хозяин, почти сельский джентльмен,¹ просвещенный тори, страстно любивший Карла I, он был раздражен повторяющимися требованиями, чтобы он выполнял административные функции в сефардской синагоге Лондона; он легко покинул ее и еврейскую общину. Он, кажется, был далек от какой-либо страстной веры. Если уж на то пошло, он был

¹Андре Моруа в своей биографии Бенджамина Дизраэли, как мне кажется, придает этому слишком большое значение. Его книга *-La Fie de Disraeli* (Париж, 1927) — больше рассказывает об авторе, чем о предмете.

probably something of an eighteenth-century deist, neither particularly pleased nor displeased at being born a Jew. He was an easy-going man, not bothered with spiritual problems – a state of mind which he shared with a great many of the liberal agnostics of his civilised age and milieu. His friend, Sharon Turner, persuaded him to baptise his children; he did this, as many similar persons have done since, in order to let them have an easier path in the world, unencumbered by burdens which, in any case, he saw no good reason to bear or make others carry. His son Benjamin was baptised in 1817. In this same year, Heschel Marx, Karl's father, was received into the Lutheran church and baptised Heinrich. Like Isaac d'Israeli, the elder Marx came of an orthodox family – his father and brother were, after all, rabbis in Trier – but he too had been brought up on the works of anti-clerical writers, Voltaire and Rousseau. He was thirty-four or thirty-five when the restoration of Prussian rule in the Rhineland, after the defeat of Napoleon, placed a barrier to the employment of Jews as lawyers. Since he wished to continue his career, and had evidently long lost his Jewish faith, and probably looked on official Protestantism as not so very different from the vague deism of many of the founders of the Enlightenment, he too painlessly crossed the frontier, and baptised Karl and his other children in August 1824. Mild, respectful to authority, anxious to please, he wished to stand well with his fellow-citizens. He was devoted to Karl, worried by his headstrong character, eager that he should pursue a successful career and not irritate important persons. Kindly, tremulous, anxious to do what is right, he was a model Prussian citizen, as Isaac d'Israeli was a model British one. Both of these gentle, middle-class fathers gave to the world sons driven on by an inner dynamism remote from their own constitution, passionate, imperious, with fiery temperaments, unbending wills, and considerable contempt for most of the human beings by whom they were surrounded: determined to be and do something, and, in their very different ways, successful in this ambition. In both cases, bonds of affection united son to father. Benjamin Disraeli always spoke in the most touching terms of Isaac; Karl Marx all his life carried with him a picture of his father; he was never as intimate with anyone else, not even with Engels. The famous letter he wrote to his father in November 1837, when he was nineteen years old, is the most complete, indeed the only, self-disclosure that we have of him. Both looked on their mothers with relative indifference. What this shows about either I must leave to psychologists to consider.

вероятно, что-то вроде деиста восемнадцатого века, не особенно довольный и не недовольный тем, что родился евреем. Он был легким в общении человеком, не беспокоившимся о духовных проблемах — состояние ума, которое он разделял со многими либеральными агностиками его цивилизованного века и среды. Его подруга, Шарон Тернер, убедила его крестить своих детей; он сделал это, как и многие подобные люди с тех пор, чтобы позволить им иметь более легкий путь в мире, не обремененный бременем, которое он, в любом случае, не видел никаких разумных причин нести или заставлять нести других. Его сын Бенджамин был крещен в 1817 году. В том же году Хешель Маркс, отец Карла, был принят в лютеранскую церковь и крестил Генриха. Как и Исаак д'Цраэли, старший Маркс происходил из ортодоксальной семьи — его отец и брат, в конце концов, были раввинами в Трире — но он тоже был воспитан на трудах антиклерикальных писателей, Вольтера и Руссо. Ему было тридцать четыре или тридцать пять лет, когда восстановление прусского правления в Рейнской области после поражения Наполеона поставило барьер для найма евреев в качестве юристов. Поскольку он хотел продолжить свою карьеру и, очевидно, давно утратил свою иудейскую веру, и, вероятно, считал официальный протестантизм не таким уж отличным от неопределенного деизма многих основателей Просвещения, он тоже безболезненно пересек границу и крестил Карла и других своих детей в августе 1824 года. Мягкий, уважительный к власти, стремящийся угодить, он хотел быть в хороших отношениях со своими согражданами. Он был предан Карлу, обеспокоен его упрямым характером, жаждал, чтобы тот добился успеха в карьере и не раздражал важных персон. Добрый, трепетный, стремящийся поступать правильно, он был образцовым прусским гражданином, как Исаак д'Цраэли был образцовым британским гражданином. Оба этих нежных отца среднего класса дали миру сыновей, движимых внутренним динамизмом, далеким от их собственной конституции, страстных, властных, с пламенным темпераментом, несгибаемой волей и значительным презрением к большинству людей, которые их окружали: полных решимости быть и что-то делать, и, каждый по-своему, преуспевающих в этом стремлении. В обоих случаях узы привязанности объединяли сына с отцом. Бенджамин Дизраэли всегда говорил об Исааке самыми трогательными словами; Карл Маркс всю свою жизнь носил с собой образ своего отца; он никогда не был так близок ни с кем другим, даже с Энгельсом. Знаменитое письмо, которое он написал отцу в ноябре 1837 года, когда ему было девятнадцать лет, является наиболее полным, по сути, единственным самораскрытием, которое у нас есть о нем. Оба смотрели на своих матерей с относительным безразличием. Что это говорит о каждом из них, я должен предоставить психологам для размышлений.

Profoundly as Marx and Disraeli differed in outlook as well as circumstances and temperament, they did evidently have something in common: above all, both were filled with a passionate desire to dominate their society. Marx wished to alter it, Disraeli to be accepted by it and lead it. Both wrote extravagant, romantic fantasies in their youth; both, each in his own fashion, turned against the milieu into which they had been born; both discovered the proletariat as its victim: Marx saw it as the carrier of revolution; Disraeli as an object of concern to the landed classes and their ally against the bourgeoisie.¹

As for Christian doctrine, it was rejected by Marx quite early in life, by the time he was a university student. It meant a good deal to Disraeli. He was not in the least cynical about religion in general, nor about Christianity in particular. All his life he seems to have believed in a quasi-mystical, somewhat literary Christianity of his own, a religion deeply tinged by a sense of historical continuity and a faith sanctified by tradition which Burke and Coleridge had done much to reinvigorate. In spite of this he was, of course, thought of as a Jew by almost everyone, and more or less thought of himself as one at all times. He was no more like an average Englishman in appearance or bearing than Marx was like an average German. Both were outsiders, both took steps to rid themselves of the disadvantages of their origins; Disraeli took one path, Marx another.

Disraeli's position was thoroughly ambivalent. He was not in any ordinary sense an Englishman, that was clear; what, then, was he? Others did not need to answer this question. To them he was an odd, anomalous being, an object of admiration or disdain, envy or ridicule, found irresistibly attractive or vulgarly exhibitionistic, the 'Jew d'esprit', as he was known in certain London circles in the earlier part of the century. But to himself he was a problem. If he was to be effective – and he made no secret of the intense ambition that drove him on – he must find his place in a deeply class-ridden and, despite the rapid social transformation produced by the Industrial Revolution, still very hierarchical English society. What was he? What interest, class, social structure, did he represent? He could float on as an amusing and exotic literary dilettante – the author of *Vivian Grey*, a *roman-à-clef*, a sparkling and ironical account of the London society of his time. He began as an outsider, a forerunner of Oscar Wilde, Proust, Evelyn Waugh, fascinated by the aristocracy, half in love with it, half mocking it, an amusing young artist, the inventor of

¹ I owe this point to Yigal Allon.

Хотя Маркс и Дизраэли глубоко различались по мировоззрению, а также по обстоятельствам и темпераменту, у них, очевидно, было что-то общее: прежде всего, оба были полны страстного желания доминировать в своем обществе. Маркс хотел изменить его, Дизраэли — быть принятым им и возглавить его. Оба писали в юности экстравагантные, романтические фантазии; оба, каждый по-своему, восстали против среды, в которой родились; оба открыли пролетариат как свою жертву: Маркс видел в нем носителя революции; Дизраэли — как объект заботы землевладельческих классов и их союзника против буржуазии.¹

Что касается христианской доктрины, то она была отвергнута Марксом довольно рано, когда он был студентом университета. Для Дизраэли она значила очень много. Он нисколько не был циничен в отношении религии в целом, ни в отношении христианства в частности. Всю свою жизнь он, кажется, верил в квазимистическое, несколько литературное христианство собственного сочинения, религию, глубоко окрашенную чувством исторической преемственности и верой, освященной традицией, для возрождения которой Берк и Кольридж сделали многое. Несмотря на это, он, конечно, считался евреем почти всеми, и более или менее считал себя таковым во все времена. Он был не больше похож на среднего англичанина по внешнему виду или поведению, чем Маркс был похож на среднего немца. Оба были аутсайдерами, оба предпринимали шаги, чтобы избавиться от недостатков своего происхождения; Дизраэли пошел по одному пути, Маркс — по другому.

Позиция Дизраэли была совершенно двойственной. Он не был англичанином в обычном смысле, это было ясно; кем же он тогда был? Другим не нужно было отвечать на этот вопрос. Для них он был странным, аномальным существом, объектом восхищения или презрения, зависти или насмешек, находившимся неотразимо привлекательным или вульгарно эксгибиционистским, «*Jew d'esprit*», как его называли в определенных лондонских кругах в начале века. Но для себя он был проблемой. Если он хотел быть эффективным — а он не скрывал сильных амбиций, которые его двигали, — он должен был найти свое место в глубоко классовом и, несмотря на быстрые социальные преобразования, произведенные промышленной революцией, все еще очень иерархическом английском обществе. Кем он был? Какой интерес, класс, социальную структуру он представлял? Он мог бы плавать как забавный и экзотический литературный дилетант — автор *Кивиан Грей*, роман-ас/еф, искрометный и ироничный рассказ о лондонском обществе своего времени. Он начинал как аутсайдер, предшественник Оскара Уайльда, Пруста, Ивлиана Во, очарованный аристократией, наполовину влюбленный в нее, наполовину насмехающийся над ней, забавный молодой художник, изобретатель

¹Этим пунктом я обязан Игалу Аллону.

the political novel, a brilliant talker and diner-out, thought something of a bounder by men, and found attractive by women – in that easy world he could continue without identifying himself with any particular segment of society, a cool observer from the outside, whose sense of perspective came from his very distance from the material of his art. But this was not enough for him. He wanted power, and he wanted recognition by those on the inside, as one of them, at least as an equal if not as a superior. Hence the psychological need to establish an identity for himself, for which he would secure recognition, an identity that would enable him to develop his gifts freely, to their utmost extent. And in due course he did create a personality for himself, at least in his own imagination. He saw before him a society of aristocrats, free, arrogant and powerful, which, however sharply he may have seen through it, he nevertheless viewed with bemused eyes as a rich and marvellous world. His novels make this very clear. A man may not be sincere in his political speeches or his letters, but his works of art are himself and tell one where his true values lie. He did not set himself to conquer this world solely because it was politically important. Perhaps the new order of manufacturers and technicians, the still rising middle class which was creating the wealth of England, was, as he well knew, more important in terms of present and future power. But Disraeli was hopelessly fascinated by the aristocracy as a class and a principle. It was by it that he wished to be recognised, it that he admired, and of it that he wished to govern the universe; he describes it with the most loving devotion, even at his most malicious and ironical.

Disraeli was always drawn to the non-rational sides of life. He was a genuine romantic not merely in the extravagance and flamboyance of his works, the poses that he struck, and the many vanities of his private and political life – these could be regarded as relatively superficial. He was a romantic in a deeper sense, in that he believed that the true forces that governed the lives of individuals and societies were not intelligible to analytical reason, not codifiable by any kind of systematic, scientific investigation, but were unique, mysterious, dark and impalpable, beyond the reach of reason. He believed deeply in the vast influence of superior individuals – men of genius lifted high over the head of the mob – masters of the destinies of nations. He believed in heroes no less than his detractor Carlyle. He despised equality, mediocrity, and the common man. He saw history as the story of conspiracies by men of hidden power everywhere, and delighted in the thought.

политический роман, блестящий оратор и любитель посидеть за обедом, считался чем-то вроде пройдохы среди мужчин и находил привлекательным среди женщин — в этом легком мире он мог продолжать, не отождествляя себя с какой-либо определенной частью общества, холодным наблюдателем со стороны, чье чувство перспективы исходило из его самой отдаленности от материала его искусства. Но этого ему было недостаточно. Он хотел власти, и он хотел признания со стороны тех, кто был внутри, как одного из них, по крайней мере, как равного, если не как превосходящего. Отсюда психологическая потребность создать для себя личность, для которой он бы обеспечил признание, личность, которая позволила бы ему свободно развивать свои дары в их максимальной степени. И в свое время он действительно создал для себя личность, по крайней мере, в своем собственном воображении. Он видел перед собой общество аристократов, свободных, высокомерных и могущественных, которое, как бы остро он ни видел его насквозь, он тем не менее рассматривал с удивлением как богатый и чудесный мир. Его романы показывают это очень ясно. Человек может быть неискренним в своих политических речах или письмах, но его произведения искусства являются им самим и говорят человеку, где лежат его истинные ценности. Он не ставил перед собой задачу завоевать этот мир только потому, что это было политически важно. Возможно, новый порядок производителей и техников, все еще растущий средний класс, создававший богатство Англии, был, как он хорошо знал, более важен с точки зрения настоящей и будущей власти. Но Дизраэли был безнадежно очарован аристократией как классом и принципом. Именно ею он хотел быть признанным, ею он восхищался, и именно ею он хотел управлять вселенной; он описывает ее с самой любящей преданностью, даже в самых злобных и ироничных своих проявлениях.

Дизраэли всегда тянулся к нерациональным сторонам жизни. Он был подлинным романтиком не только в экстравагантности и яркости своих произведений, позах, которые он принимал, и многочисленных тщеславиях своей личной и политической жизни — их можно было считать относительно поверхностными. Он был романтиком в более глубоком смысле, в том, что он верил, что истинные силы, управляющие жизнью отдельных людей и обществ, не поддаются аналитическому разуму, не кодифицируются никаким систематическим научным исследованием, но являются уникальными, таинственными, темными и неосозаемыми, выходящими за пределы досягаемости разума. Он глубоко верил в огромное влияние выдающихся личностей — гениев, вознесенных высоко над головой толпы — вершителей судеб наций. Он верил в героев не меньше, чем его хулитель Карлейль. Он презирал равенство, посредственность и простого человека. Он видел историю как историю заговоров людей, обладающих скрытой властью повсюду, и восхищался этой мыслью.

Utilitarianism, sober observation, experiment, mathematical reasoning, rationalism, common sense, the astonishing achievements and constructions of scientific reason – the true glory of humanity since the seventeenth century – these were almost nothing to him. His contempt for Bentham or Mill was not stimulated by the mere fact that he was conservative and they were not; it was rooted in his particular vision which made their values seem to him dreary and vulgar, as, say, Bertrand Russell's values appeared to T. S. Eliot (another 'alien' Tory). He was passionately convinced that intuition and imagination were vastly superior to reason and method. He believed in temperament, blood, race, the unaccountable leaps of genius. He was an anti-rationalist through and through. Art, love, passion, the mystical elements of religion, meant more to him than railways or the transforming discoveries of the natural sciences, or the industrial might of England, or social improvement, or any truth obtained by measurement, statistics, deduction. A man of this outlook, which remained unaltered from the beginning to the end of his days, could not but be dazzled by the aristocracy, as Balzac, or Wilde, or Proust were, as many a sensitive, imaginative, inferiority-ridden boy of plebeian or middle-class origin must have been, when he came into contact with what seemed, and perhaps was, a freer, gayer, more confident world.

Given these characteristics, and an overwhelming desire to enter this exhilarating society and play a great part in it, Disraeli gave free rein to his fantasy, not indeed consciously, but all the more passionately. He came to see himself lifted high above the milling multitude – the middle and lower classes, the masses of men of limited vision; for he was not of them, he was a brilliant high-born figure. How could this be? It was, it must be so, because he was a member of an élite, an ancient race which had given the world its most precious possessions – religion, laws, social institutions, its sacred books, and finally its Divine Saviour, who completed the work of the great lawgiver Moses, his own family being among the noblest and proudest of the ancient race. The race was indeed ancient; as for his ancestors, in 1849, in his edition of his father's works, Disraeli told his readers this:

My grandfather . . . was an Italian descendant from one of those Hebrew families whom the Inquisition forced to emigrate from the Spanish Peninsula at the end of the fifteenth century, and who found a refuge in the more tolerant territories of the Venetian Republic. His ancestors had dropped their Gothic surname . . . and grateful to the God of Jacob who had sustained them through

Утилитаризм, трезвые наблюдения, эксперимент, математическое рассуждение, рационализм, здравый смысл, поразительные достижения и построения научного разума — истинная слава человечества с XVII века — все это было для него почти ничем. Его презрение к Бентаму или Миллю не было вызвано тем простым фактом, что он был консерватором, а они нет; оно коренилось в его особом видении, которое делало их ценности для него унылыми и вульгарными, как, скажем, ценности Бертрана Рассела для Т. С. Элиота (еще одного «чуждого» тори). Он был страстно убежден, что интуиция и воображение значительно превосходят разум и метод. Он верил в темперамент, кровь, расу, необъяснимые скачки гения. Он был антирационалистом до мозга костей. Искусство, любовь, страсть, мистические элементы религии значили для него больше, чем железные дороги или преобразующие открытия естественных наук, или промышленная мощь Англии, или социальное улучшение, или любая истина, полученная путем измерения, статистики, дедукции. Человек с таким мировоззрением, которое оставалось неизменным с начала и до конца его дней, не мог не быть ослеплен аристократией, как Бальзак, или Уайльд, или Пруст, как, должно быть, были многие чувствительные, воображаемые, охваченные неполноценностью мальчики плебейского или среднего класса, когда они соприкасались с тем, что казалось, а возможно, и было, более свободным, веселым, более уверенным миром.

Учитывая эти характеристики и непреодолимое желание войти в это волнующее общество и играть в нем большую роль, Дизраэли дал волю своей фантазии, не совсем осознанно, но тем более страстно. Он пришел к тому, что увидел себя высоко поднятым над толпой — средними и низшими классами, массами людей с ограниченным видением; ибо он не был из них, он был блестящей высокородной фигурой. Как это могло быть? Это было, это должно было быть так, потому что он был членом элиты, древней расы, которая дала миру его самые драгоценные сокровища — религию, законы, социальные институты, его священные книги и, наконец, его Божественного Спасителя, который завершил дело великого законодателя Моисея, его собственная семья была среди самых благородных и гордых из древней расы. Раса действительно была древней; что касается его предков, то в 1849 году в своем издании трудов своего отца Дизраэли сказал своим читателям следующее:

Мой дед... был итальянским потомком одной из тех еврейских семей, которых инквизиция заставила эмигрировать с испанского полуострова в конце пятнадцатого века, и которые нашли убежище на более терпимых территориях Венецианской республики. Его предки отказались от своей готической фамилии... и благодарны Богу Иакова, который поддерживал их через

unprecedented trials and guarded them through unheard-of perils, they assumed the name of DISRAELI, a name never borne before or since by any other family, in order that their race might be for ever recognised. Undisturbed and unmolested, they flourished as merchants for more than two centuries under the protection of the lion of St Mark . . .¹

And so on. There is, it seems, no word of truth in this. Lucien Wolf² and Cecil Roth³ have torn it all to shreds, and Lord Blake in his admirable biography accepts their findings.⁴ It is probably all pure fiction. There is no evidence that Disraeli's family came from Spain, nor that they had settled in Venice; his grandfather came to England from the Papal States, from Cento, near Ferrara, and two poor relatives of his did live in the Venetian ghetto in his own lifetime, but that is all. There are no records of any earlier d'Israelis in Spain or Venice. Nor was the well-known De Lara family, with whom he claimed kinship, related to him; and so, I am afraid, it goes on. But he evidently persuaded himself of all this, and this belief buoyed him up. The reality was too embarrassing: he needed a role to act, otherwise he could not perform. He was the most brilliant performer of his age, and if he had not half-believed in the reality of his own invention he could scarcely have mounted the public stage. It was as a fellow-aristocrat that he led the dukes and the baronets against the manufacturers and the Benthamites. His opponents, and many a later observer, thought him no better than a cunning and cynical impostor. Yet this cannot possibly be anywhere near the whole truth. Certainly he invented; but he was, as happens with imaginative men, largely taken in by his own inventions. His achievement and his ascendancy are not intelligible without this. He was an actor, and he became one with his act: the mask became one with his features: second nature replaced first – otherwise the gestures would have been too hollow, and in the end would have deceived no one. Yet, despite all the artifice and rhetoric and exotic airs, he carried conviction. He did so because

¹ 'On the Life and Writings of Mr Disraeli', in Isaac Disraeli, *Curiosities of Literature* (London, 1881), vol. 1, p. viii.

² Lucien Wolf, 'The Disraeli Family', *The Times*, 20 (p. 6) and 21 (p. 12) December 1904; repr. in *Transactions of the Jewish Historical Society of England* 5 (1902-5), 202-18.

³ Cecil Roth, *Benjamin Disraeli: Earl of Beaconsfield* (New York, 1952), chapter 1.

⁴ Robert Blake, *Disraeli* (London, 1966), p. 4.

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

беспрецедентные испытания и охраняли их от неслыханных опасностей, они приняли имя ДИЗРАЭЛИ, имя, которое никогда не носила ни до, ни после ни одна другая семья, чтобы их раса могла быть навсегда признана. Нетронутые и нетронутые, они процветали как торговцы более двух столетий под защитой льва Святого Марка . . .]

И так далее. В этом, кажется, нет ни слова правды. Люсьен Вольф² и Сесил Рот³ разорвали все это в клочья, и лорд Блейк в своей замечательной биографии принимает их выводы.⁴ Вероятно, все это чистейший вымысел. Нет никаких доказательств того, что семья Дизраэли приехала из Испании или что они поселились в Венеции; его дед приехал в Англию из Папской области, из Ченто, недалеко от Феррары, и двое его бедных родственников жили в венецианском гетто при его жизни, но это все. Нет никаких записей о более ранних dTsraelis в Испании или Венеции. Также не была связана с ним известная семья Де Лара, с которой он заявлял о родстве; и так, боюсь, и дальше. Но он, очевидно, убедил себя во всем этом, и эта вера поддерживала его. Реальность была слишком смущающей: ему нужна была роль, чтобы играть, иначе он не мог играть. Он был самым блестящим исполнителем своего времени, и если бы он не верил наполовину в реальность собственного изобретения, он вряд ли смог бы подняться на публичную сцену. Именно как собрат-аристократ он повел герцогов и баронетов против фабрикантов и бентамистов. Его противники и многие более поздние наблюдатели считали его не лучше хитрого и циничного самозванца. Однако это не может быть близко к полной правде. Конечно, он выдумывал; но он был, как это случается с людьми с богатым воображением, в значительной степени введен в заблуждение собственными выдумками. Его достижения и его господство непонятны без этого. Он был актером, и он стал единым со своим представлением: маска стала единым с его чертами: вторая натура заменила первую — иначе жесты были бы слишком пустыми и в конце концов никого бы не обманули. Однако, несмотря на всю искусственность, риторику и экзотические манеры, он был убедителен. Он сделал это, потому что

¹«О жизни и творчестве мистера Дизраэли» в книге Айзека Дизраэли, *Любопытные факты из литературы* (Лондон, 1881), т. I, стр. VIII.

²Люсьен Вольф, «Семья Дизраэли», *Таймс*, 20 (стр. 6) и 21 (стр. 12) декабря 1904 г.; перепечатано в *Труды Еврейского исторического общества Англии* 5 (1902-5), 202-18.

³Сесил Рот, *Бенджамин Дизраэли: граф Биконсфилд* (Нью-Йорк, 1952), глава 1.

⁴Роберт Блейк, *Дизраэли* (Лондон, 1966), стр. 4.

he had convinced himself: his ideas, his political ideals, his religious views may have struck some both then and later as tawdry, theatrical or even wicked, but they were not sham. Disraeli was an adventurer and an exhibitionist, but he was not, in politics or religion, either a cynic or a hypocrite.

There is a puzzle here. Even if the Tory party, after it was split by Peel over the repeal of the Corn Laws, needed a clever man to restore its fortunes, since it was not too well endowed with able men itself ('The Conservatives [are] the stupidest party',¹ said John Stuart Mill; and, when attacked for this, 'I never meant to say that the Conservatives are generally stupid. I meant to say that stupid people are generally Conservative'),² and even if the country squires and the dukes, and even the burly farmers, thought that they needed this oriental-looking spellbinder to save them from follies and blunders, yet the fact that he became their undisputed leader, that he achieved this astonishing symbiosis with men so utterly different from himself, with men who suffered from every possible prejudice against all that he was and stood for, cannot be explained unless he truly believed himself called upon to be the champion of their cause, genuinely believed in their attributes, idealised them as something far superior to qualities and interests represented by the Whigs and the radicals with whom he had begun life. More than this. The most intimate political associates of his middle years were those members of Young England who believed profoundly in an organic national society, in the duties of aristocratic landowners to their dependents, in the restoration of a Christian neo-feudal order, young men with a horror of industrialism and a desire to restore the broken texture of faith and community, a sense of social dedication, a spirit of loyalty and duty directed against the bleak individualism and self-interest of the manufacturers and shopkeepers and the market society which Carlyle and Ruskin, Kingsley and William Morris denounced with equal fury, despite all their profound differences. How could these deeply earnest, deeply Christian, sensitive, fastidious young noblemen, how could they, of all people, not only accept as one of themselves but faithfully follow as their leader a clever Levantine manipulator, a kind of hired mercenary *condottiere*, without principles or ideals, the kind of soulless leprechaun that Disraeli has

¹ *Considerations on Representative Government*, chapter 7, note.

² W. L. Courtney, *Life of John Stuart Mill* (London, 1889), p. 147. See also J. S. Mill, *Autobiography* (London, 1873), p. 289.

он убедил себя: его идеи, его политические идеалы, его религиозные взгляды могли показаться некоторым и тогда, и позже безвкусными, театральными или даже порочными, но они не были фальшивыми. Дизраэли был авантюристом и эксгибиционистом, но он не был ни циником, ни лицемером в политике или религии.

Здесь есть загадка. Даже если партия тори, после того как ее расколол Пилем из-за отмены хлебных законов, нуждалась в умном человеке, чтобы восстановить свое положение, поскольку сама она была не слишком обеспечена способными людьми («Консерваторы — самая глупая партия»,¹ сказал Джон Стюарт Милль; и когда на него напали за это, «Я никогда не хотел сказать, что консерваторы в целом глупы. Я хотел сказать, что глупые люди в целом консерваторы»),² и даже если сельские помещики и герцоги, и даже крепкие фермеры думали, что им нужен этот восточный очаровашка, чтобы спасти их от глупостей и промахов, тем не менее тот факт, что он стал их бесспорным лидером, что он достиг этого удивительного симбиоза с людьми, столь совершенно отличными от него самого, с людьми, которые страдали от всевозможных предубеждений против всего, чем он был и за что выступал, нельзя объяснить, если он действительно не верил, что призван быть поборником их дела, искренне не верил в их качества, идеализировал их как нечто гораздо более высокое, чем качества и интересы, представленные вигами и радикалами, с которыми он начал жизнь. Более того. Самыми близкими политическими соратниками его средних лет были те члены Молодой Англии, которые глубоко верили в органическое национальное общество, в обязанности аристократических землевладельцев по отношению к своим иждивенцам, в восстановление христианского неофеодального порядка, молодые люди с ужасом перед индустриализмом и желанием восстановить сломанную структуру веры и сообщества, чувство социальной преданности, дух лояльности и долга, направленные против мрачного индивидуализма и эгоизма производителей и лавочников и рыночного общества, которое Карлейль и Раскин, Кингсли и Уильям Моррис осуждали с одинаковой яростью, несмотря на все их глубокие различия. Как могли эти глубоко искренние, глубоко христианские, чувствительные, утонченные молодые дворяне, как могли они, из всех людей, не только принять в качестве одного из себя, но и преданно следовать как за своим лидером ловкого левантийского манипулятора, своего рода наемника *кондотьер*, без принципов и идеалов, своего рода бездушный лепреконт, которого Дизраэли

¹ *Соображения по представительному правительству*, глава 7, примечание.

² У. Л. Кортни, *Жизнь Джона Стюарта Милля* (Лондон, 1889), стр. 147. См. также JS Mill, *Автобиография* (Лондон, 1873), стр. 289.

from time to time been represented as being by unsympathetic biographers and historians? It is as a diabolical figure, false through and through, a deadly opponent of all that was right and good, that Gladstone, for instance, or the Duke of Argyll saw him. This is the viper whom Lord John Manners and Lord George Bentinck pressed to their bosom; whom, despite their parents' warnings, these young Tory lords followed and never repented of their allegiance.

But there is no need to be too deeply puzzled by this. Disraeli's novels afford all the evidence needed to show that his faith in aristocracy, in race, in genius, his hatred of industrial exploitation, his belief in blood and soil (before these words had become degraded by the use made of them by insane German nationalists), his adoring devotion to history, the land, the continuity that breeds distinction, to ancient institutions – however irrational, fanciful, reactionary all this may have been – were, at any rate, genuine. This was the material out of which his own historical, or pseudo-historical, imagination constructed the personality with which he faced England and the world. Unlike some of the assimilated Jews of his time, baptised and unbaptised, he did no violence to what he felt to be true of himself. No one can fail to notice that he boasted of his Jewish origins almost too insistently, and mentioned them in and out of season at some risk to his political career, and this despite his eccentric but genuine Christianity. No doubt the fact that he was born a Jew offered an obstacle to his career: he overcame it by inflating it into a tremendous claim to noble birth. He needed to do this in order to feel that he was dealing on equal terms with the leaders of his family's adopted country, which he so profoundly venerated. Hence the extraordinary fantasies in his novels.

It is plain that at school he was, or came near to being, mocked and persecuted. The famous passage in his early novel, *Vivian Grey*, in which the usher at school speaks of the hero, namely himself, as a 'seditious stranger'¹ (he made no secret that his novels were largely autobiographical) gives us the key. And again:

They were called my brothers, but Nature gave the lie to the reiterated assertion. There was no similitude between us. Their blue eyes, their flaxen hair, and their white visages claimed no kindred with my Venetian countenance. Wherever I moved I looked around

¹ Book 1, chapter 4, p. 9: page references are to the Bradenham Edition of the Novels and Tales of Benjamin Disraeli, 1st Earl of Beaconsfield (London, 1926–7).

время от времени представлялся как несимпатичный биографами и историками? Именно как дьявольскую фигуру, насквозь лживую, смертельного противника всего, что было правильным и хорошим, видели его, например, Глэдстоун или герцог Аргайл. Это гадюка, которую лорд Джон Мэннерс и лорд Джордж Бентинк прижимали к своей груди; за которой, несмотря на предостережения родителей, следовали эти молодые лорды-тори и никогда не раскаивались в своей преданности.

Но нет нужды слишком глубоко озадачиваться этим. Романы Дизраэли предоставляют все необходимые доказательства, чтобы показать, что его вера в аристократию, в расу, в гения, его ненависть к промышленной эксплуатации, его вера в кровь и почву (до того, как эти слова стали унижены использованием их безумными немецкими националистами), его обожающая преданность истории, земле, преемственности, которая порождает различие, древним институтам — как бы иррационально, причудливо, реакционно все это ни было — были, во всяком случае, подлинными. Это был материал, из которого его собственное историческое или псевдоисторическое воображение построило личность, с которой он столкнулся с Англией и миром. В отличие от некоторых ассимилированных евреев его времени, крещеных и некрещеных, он не насиловал то, что он считал истиной для себя. Никто не может не заметить, что он хвастался своим еврейским происхождением почти слишком настойчиво и упоминал его в нужный и неподходящий момент, рискуя своей политической карьерой, и это несмотря на его эксцентричное, но подлинное христианство. Несомненно, тот факт, что он родился евреем, был препятствием для его карьеры: он преодолел его, раздув его до колоссального притязания на знатное происхождение. Ему нужно было сделать это, чтобы чувствовать, что он на равных имеет дело с лидерами страны, которую он так глубоко почитал. Отсюда и необычайные фантазии в его романах.

Очевидно, что в школе его высмеивали и преследовали, или он был близок к этому. Знаменитый отрывок из его раннего романа, *Фивиан Грей*, в котором школьный смотритель говорит о герое, а именно о себе, как о «мятежном незнакомце»¹(он не скрывал, что его романы в значительной степени автобиографичны) дает нам ключ. И снова:

Их называли моими братьями, но Природа опровергла это повторяющееся утверждение. Между нами не было никакого сходства. Их голубые глаза, их льняные волосы и их белые лица не имели ничего общего с моим венецианским лицом. Куда бы я ни шел, я оглядывался

¹Книга I, глава 4, стр. 9: ссылки на страницы относятся к изданию «Романов и рассказов Бенджамина Дизраэли, 1-го графа Биконсфилда» издательства Bradenham (Лондон, 1926-1927).

me, and beheld a race different from myself. There was no sympathy between my frame and the rigid clime whither I had been brought to live.

This is a passage from *Contarini Fleming*¹ and it tells its own tale. How was he to get even with these people? Why, by asserting, and over-asserting, his true origin. Who were these people who set themselves up above him? Georg Brandes describes them as 'a troop of Norman knights, whose fathers were wreckers, Baltic pirates'.

Was, then, this mixed population of Saxons and Normans, among whom he had first seen the light, of purer blood than he? Oh no, he was descended in a direct line from one of the oldest races in the world, from that rigidly separate and unmixed Bedouin race, who had developed a high civilisation at a time when the inhabitants of England were going half naked, and eating acorns in their woods. He was of pure blood; and yet, strange to say, they regarded his race as of lower caste, and, nevertheless, they had adopted most of the laws, and many of the customs, which constituted the peculiarity of this caste in their Arabian home. They had appropriated all the religion and all the literature of his fathers.

The heritage of the Jews was the basis of all subsequent civilised society. They revered the literature, the Sabbath, the sacred history of the Jewish people, its 'hymns, laments and praises', finally, 'the Son of a Jewish woman as their God. Yet, nevertheless, they excluded with disdain from their society and their parliament, as if they were the offscouring of the earth, the race to which they owed their festivals, their psalms, their semi-civilisation, their religion, and their God. He racked his brains.'²

I need not rehearse again all the passages quoted by Disraeli's many biographers, particularly by the Jews among them, of all those lyrical outbursts in which he speaks of the ancient Hebrews and of the Jews in general. In his early fantasy, *The Wondrous Tale of Alroy*, the hero restores the Jews to their ancient land, conquers the whole of Asia Minor, and finally perishes in glorious fashion. In *Coningsby*, the mysterious and omnipotent figure of Sidonia, benevolent, powerful, all but omniscient, is a representative of the 'pure Asian breed'³ that makes Jews and Arabs cousins, and causes Disraeli to describe

¹ Part 1, chapter 2, p. 5.

² Georg Brandes, *Lord Beaconsfield: A Study*, trans. Mrs George Sturge (London, 1880), pp. 45, 41, 42.

³ Book 4, chapter 10, p. 232.

меня, и увидел расу, отличную от меня. Не было никакой симпатии между моим телом и суровым климатом, куда меня привели жить.

Это отрывок из *Контарини Флеминги* он рассказывает свою собственную историю. Как он должен был расквитаться с этими людьми? Почему, утверждая и переусердствуя, свое истинное происхождение. Кто были эти люди, которые поставили себя выше него? Георг Брандес описывает их как «отряд нормандских рыцарей, чьи отцы были разрушителями, балтийскими пиратами».

Было ли тогда это смешанное население саксов и норманнов, среди которых он впервые увидел свет, более чистой крови, чем он? О нет, он происходил по прямой линии от одной из древнейших рас в мире, от той строго отдельной и несмешанной расы бедуинов, которая развила высокую цивилизацию в то время, когда жители Англии ходили полуголыми и ели акомбы в своих лесах. Он был чистой крови; и все же, как ни странно, они считали его расу низшей кастой, и, тем не менее, они приняли большинство законов и многие обычаи, которые составляли особенность этой касты в их арабской родине. Они присвоили всю религию и всю литературу его отцов.

Наследие евреев было основой всего последующего цивилизованного общества. Они почитали литературу, субботу, священную историю еврейского народа, его «гимны, плачи и хвалы», наконец, «сына еврейской женщины как своего Бога». И тем не менее, они с презрением исключили из своего общества и своего парламента, как будто они были отбросами земли, расу, которой они были обязаны своими праздниками, своими псалмами, своей получивилизацией, своей религией и своим Богом. Он ломал себе голову».²

Мне нет нужды пересказывать все отрывки, цитируемые многочисленными биографами Дизраэли, особенно евреями среди них, все те лирические вспышки, в которых он говорит о древних евреях и о евреях вообще. В своей ранней фантазии, *Чудесный Так из Элроя*, герой возвращает евреев на их древнюю землю, завоевывает всю Малую Азию и в конце концов погибает славным образом. *Конингсти*, таинственная и всемогущая фигура Сидонии, доброжелательная, могущественная, почти всеведущая, является представительницей «чисто азиатской породы»³ что делает евреев и арабов кузенами и заставляет Дизраэли описывать

¹Часть I, глава 2, стр. 5.

²Георг Брандес, *Лорд Биконсфилд: Исследование*, перевод миссис Джордж Стердж (Лондон, 1880), стр. 45, 41, 42.

³Книга 4, глава 10, стр. 252.

the Arabs as merely 'Jews upon horseback'.¹ Sidonia explains that the Jews have triumphed over time and persecution because of their Caucasian blood² and the wise laws that segregate them from lower races.³ He compares them favourably with 'some flat-nosed Frank, full of bustle and puffed-up with self-conceit (a race spawned perhaps in the morasses of some Northern forest hardly yet cleared)'.⁴ There is the strange vision of the feverish *Lothair*. There is the epiphany in *Tancred* when 'the angel of Arabia' addresses the hero in Palestine in mystical phrases.⁵ This novel, Disraeli's favourite, is more than any of his other works penetrated by the notion that all that is eastern is good, noble, fine, destined to triumph. This is not Jewish nationalism in any simple sense. To suppose that Disraeli was a Zionist is anachronistic and not plausible.⁶ The eastern melodies were called into being in response to the need to construct a persona, an inner image of himself with which he could establish for himself a place in the world, and play a part in history and in society.

That is what is meant by the search for identity contained in my title. As the son of a minor littérateur, an Italianate stranger, who clearly did not belong to any of the normal social groups which composed British political society in the nineteenth century, he could not easily make his way without some decisive act of psychological self-transformation, if he was not to be consumed by the painful consciousness that he was out of place, did not belong, was a foreign body, stared at and dismissed as a mountebank, Carlyle's 'superlative Hebrew Conjuror',⁷ a foreign adventurer of whom E. T. Raymond declared that 'his heart was not that of an Englishman'.⁸ He was, therefore, driven to invent a role for himself, to find a desirable class of persons with

¹ *Tancred*, book 4, chapter 3, p. 261.

² *Coningsby*, book 4, chapter 15, pp. 263-7.

³ *ibid.*, chapter 10, p. 232.

⁴ *Tancred*, book 3, chapter 7, p. 233.

⁵ Book 4, chapter 7, pp. 299-300.

⁶ The story of the Austrian journalist Chlumiecki that Disraeli was the author of a Zionist tract which only Bismarck persuaded him not to place before the Congress of Berlin does not seem, to say the least, plausible enough to deserve closer scrutiny. See Cecil Roth, *op. cit.* (p. 266, note 3 above), pp. 159-62.

⁷ Thomas Carlyle, 'Shooting Niagara: and After?', *Critical and Miscellaneous Essays* (London, 1899), vol. 5, p. 11.

⁸ E. T. Raymond (pseudonym of E. R. Thompson), *Disraeli: The Alien Patriot* (London, [1926]), p. 5.

арабы просто «евреи на лошадях».¹Сидония объясняет, что евреи одержали победу над временем и гонениями благодаря своей кавказской крови.²И мудрые законы, отделяющие их от низших рас.³Он сравнивает их с «каким-нибудь плосконосом франком, полным суеты и раздутым от самомнения (раса, возможно, зародившаяся в болотах какого-нибудь северного леса, который еще едва расчистили)».⁴Есть странное видение лихорадочного *Лотарь*. В этом есть прозрение *Танкред* когда «ангел Аравии» обращается к герою в Палестине с мистическими фразами.⁵Этот роман, любимый Дизраэли, больше, чем любое другое его произведение, пронизан идеей, что все восточное — хорошо, благородно, прекрасно, обречено на победу. Это не еврейский национализм в каком-либо простом смысле. Предположение, что Дизраэли был сионистом, анахронично и неправдоподобно.⁶Восточные мелодии были вызваны к жизни в ответ на потребность создать личность, внутренний образ самого себя, с помощью которого человек мог бы определить свое место в мире и сыграть свою роль в истории и обществе.

Вот что подразумевается под поиском идентичности, содержащимся в моем названии. Как сын мелкого литератора, итальянского чужака, который явно не принадлежал ни к одной из обычных социальных групп, составлявших британское политическое общество в девятнадцатом веке, он не мог легко проложить себе путь без какого-либо решительного акта психологической самотрансформации, если он не хотел быть поглощенным болезненным сознанием того, что он не на своем месте, не принадлежит, является инородным телом, на которого пялятся и которого игнорируют как шарлатана, «превосходного еврейского фокусника» Карлейля,⁷иностранный авантюрист, о котором Э. Т. Рэймонд заявил, что * его сердце не было сердцем англичанина.⁸Поэтому он был вынужден придумать для себя роль, найти желаемый класс людей с

¹*Танкред*, книга 4, глава 3, стр. 261.

²*Конингсби*, книга 4, глава 15, стр. 263-7.

³там же, глава 10, стр. 232.

⁴*Танкред*, книга 3, глава 7, стр. 233.

⁵Книга 4, глава 7, стр. 299-300.

⁶История австрийского журналиста Хлумецки о том, что Дизраэли был автором сионистского трактата, который только Бисмарк убедил его не представлять на Берлинском конгрессе, по меньшей мере, не кажется достаточно правдоподобной, чтобы заслуживать более пристального изучения. См. Cecil Roth, op. cit. (стр. 266, примечание 3 выше), стр. 159-62.

⁷Томас Карлайл, 'Расстрел Ниагары: и после?', *Критические и прочие эссе* (Лондон, 1899), т. 5, стр. 11.

⁸Э. Т. Рэймонд (псевдоним Э. Р. Томпсона), *Дизраэли: Чужой патриот* (Лондон, [1926]), стр. 5.

whom he could worthily identify himself. This was accomplished by a mysterious, unconscious sleight of mind: 'the influence of a great race will be felt'. Hence 'it is impossible to destroy the Jews'.¹ All Jews were aristocrats: their peers were the ancient landed gentry who were being done down, defeated and destroyed by ill-bred upstarts, Burke's utilitarian sophisters, economists and calculators, heartless industrial exploiters who were destroying the bodies and souls of their fellow-men in mines and factories, vulgarians unaware of history, men who did not know what their feet were trampling, atheists, utilitarians, Manchester individualists, materialists remote from all spiritual values, from the sacred mystery of being, blind leaders of the blind, dead to the spiritual bonds that united men to each other and to God. This fantasy was fed by his luxuriant imagination and, growing round the older doctrine derived from the Anglican tradition, Burke and the romantics, became one of the roots of that mystique which is still at the heart of what remains of English Conservative thought.

In the course of developing this splendid vision, Disraeli invested the British Empire, and in particular its oriental possessions, India and the dominion over Egypt still to come, with the same opulent imagination that was intrinsically so foreign to ordinary empirical, cautious British thought. The combination of this richly coloured fantasy with more traditional strains affected British political thought, and shaped it for many fateful decades. When Disraeli presided over the elevation of Queen Victoria to the throne of the Empress of India, and all that went with it, the gorgeous trappings of empire, the elephants and the durbars, and all those eastern splendours which had succeeded the realistic, hard-headed rule of the East India Company and inspired the vast and occasionally hollow periods of later imperialist rhetoric, it is difficult to resist the impression that something of this stemmed from Disraeli's genuine orientalism. There is, after all, none of it in Dutch or French or Spanish or Portuguese imperialism – nor are any native British roots perceptible. So, too, Disraeli's relationship to the Queen, those enormous compliments which seemed so shameless to his rivals, were a natural expression of this vision. Doubtless there was a good dose of irony, not to say cynicism, in his courtship of the Queen. But it sprang no less from the craving for splendour and glory with which hard-headed, shrewd, even ruthless personalities – even Victoria herself – need to comfort themselves to compensate

¹ *Lord George Bentinck: A Political Biography* (London, 1852), pp. 495, 494.

кого он мог достойно идентифицировать. Это было достигнуто таинственным, бессознательным умственным маневром: «влияние великой расы будет ощущаться». Поэтому «невозможно уничтожить евреев». ¹Все евреи были аристократами: их сверстниками были древние землевладельцы, которых унижали, побеждали и уничтожали невоспитанные выскочки, утилитаристы-софисты Берка, экономисты и калькуляторы, бессердечные промышленные эксплуататоры, которые уничтожали тела и души своих собратьев в шахтах и на фабриках, пошляки, не знающие истории, люди, которые не знали, что топчут их ноги, атеисты, утилитаристы, манчестерские индивидуалисты, материалисты, далекие от всех духовных ценностей, от священной тайны бытия, слепые вожди слепых, мертвые для духовных связей, которые объединяли людей друг с другом и с Богом. Эта фантазия питалась его пышным воображением и, разрастаясь вокруг старой доктрины, вытекающей из англиканской традиции, Берка и романтиков, стала одним из корней той мистики, которая все еще находится в основе того, что осталось от английской консервативной мысли.

В ходе развития этого великолепного видения Дизраэли наделил Британскую империю, и в частности ее восточные владения, Индию и грядущее господство над Египтом, тем же самым роскошным воображением, которое было по сути своей столь чуждо обычной эмпирической, осторожной британской мысли. Сочетание этой богато окрашенной фантазии с более традиционными чертами повлияло на британскую политическую мысль и сформировало ее на многие судьбоносные десятилетия. Когда Дизраэли председательствовал на возвышении королевы Виктории на трон императрицы Индии и всем, что с этим было связано, великолепными атрибутами империи, слонами и дурбарами, и всеми этими восточными великолепиями, которые пришли на смену реалистичному, трезвому правлению Ост-Индской компании и вдохновили обширные и порой пустые периоды более поздней империалистической риторики, трудно не поддаваться впечатлению, что что-то из этого проистекало из подлинного ориентализма Дизраэли. В конце концов, ничего этого нет в голландском, французском, испанском или португальском империализме — и никаких коренных британских корней не заметно. Так же и отношение Дизраэли к королеве, те огромные комплименты, которые казались его соперникам такими бесстыдными, были естественным выражением этого видения. Несомненно, в его ухаживаниях за королевой была хорошая доза иронии, если не сказать цинизма. Но это не в меньшей степени исходило из жажды блеска и славы, с которой трезвые, пронизательные, даже безжалостные личности — даже сама Виктория — должны утешать себя, чтобы компенсировать

*1*Лорд Джордж Бентинк: политическая биография(Лондон, 1852), стр. 495, 494-

for the hollow qualities of public life. Like all those whose lives are in part a fantasy, yet not wholly cut off from reality, Disraeli knew that some of this was make-believe, that *Alroy*, as he once said, was not to be taken too seriously, for it was but a legend. Yet it also penetrated his being. His vision of his relationship to Queen Victoria was an imaginative creation in which he believed, even while he was aware of the element of sheer invention. He did half genuinely see Victoria as a great empress and himself as her vizier; she was Semiramis and Titania, Empress of the East and Queen of the Fairies.

His own rise must have seemed incredible and marvellous to him; when he played his part in the pantomime, he was transported by it; his mockery of it did not make it unreal to him; it is like the jokes that believers make about their own faith. If he had not at least half-believed in the world he conjured up, he could scarcely have carried it all through. The hypnotist half-hypnotised himself. If this is not recognised, his whole career is not intelligible. It is not enough, as some of his biographers are apt to do, to describe his outer gestures; the inner dynamism must be grasped, and this is bound up with the identity that he invented for himself, that seemed gimcrack and false to the Gladstonian Duke of Argyll, whom Cecil Roth quotes as saying of Disraeli that, having as a Jew no opinions of his own and no traditions with which to break, he 'was free to play with prejudices in which he did not share, and to express passions which were not his own, except insofar as they were tinged with personal resentment'.¹ This seems to me a false diagnosis: Disraeli may not have shared the prejudices, but the passions had indeed been made his own; if he had no relevant traditions of his own, he constructed them, and in the end believed in them, lived by them. Of course any life founded on as much Byronic fantasy as Disraeli's is bound to seem 'deceitful', 'politically dishonest', immoral and cynical, to high-minded and unsympathetic observers. But when Disraeli says, as he does in *Coningsby*, 'An unmixed race of a first-rate organisation are the true aristocracy of Nature',² he clearly believes this. His advocacy of race, nationality, tradition, his distaste for liberal cosmopolitanism, and so, too, for atheism, rationalism, free trade, is the genuine faith he lived by. The only way in which he could avoid what was irregular in his own position was by clothing himself in the play of a transforming fancy.

¹ Cecil Roth, *op. cit.* (p. 266, note 3 above), p. 85.

² Book 4, chapter 10, p. 232.

для пустых качеств общественной жизни. Как и все те, чья жизнь отчасти является фантазией, но не полностью оторвана от реальности, Дизраэли знал, что часть этого была выдумкой, что *Аллоу*¹ как он однажды сказал, не следует воспринимать слишком серьезно, поскольку это была всего лишь легенда. Но она также проникла в его существо. Его видение своих отношений с королевой Викторией было воображаемым творением, в которое он верил, даже осознавая элемент чистой выдумки. Он наполовину искренне видел Викторию великой императрицей, а себя ее визирем; она была Семирамидой и Титанией, императрицей Востока и королевой фей.

Его собственный взлет, должно быть, казался ему невероятным и чудесным; когда он играл свою роль в пантомиме, он был ею унесен; его насмешки над ней не делали ее нереальной для него; это похоже на шутки, которые верующие отпускают о своей собственной вере. Если бы он хотя бы наполовину не верил в мир, который он вызывал в воображении, он вряд ли смог бы довести ее до конца. Гипнотизер наполовину загипнотизировал себя. Если этого не осознать, вся его карьера непонятна. Недостаточно, как склонны делать некоторые из его биографов, описать его внешние жесты; необходимо понять внутренний динамизм, и он связан с идентичностью, которую он для себя придумал и которая казалась фальшивой и фальшивой гладстоновскому герцогу Аргайлу, которого Сесил Рот цитирует, говоря о Дизраэли, что, не имея как еврей никаких собственных мнений и традиций, с которыми можно было бы порвать, он «был свободен играть с предрассудками, которых не разделял, и выражать страсти, которые не были его собственными, за исключением тех случаев, когда они были окрашены личным негодованием».¹

Мне это кажется ложным диагнозом: Дизраэли, возможно, не разделял предрассудков, но страсти действительно стали его собственными; если у него не было собственных соответствующих традиций, он их создавал и в конце концов верил в них, жил ими. Конечно, любая жизнь, основанная на такой байронической фантазии, как у Дизраэли, обязательно покажется «лживой», «политически бесчестной», безнравственной и циничной высокомерным и несимпатичным наблюдателям. Но когда Дизраэли говорит, как он это делает в *Конингсби*² «Несмешанная раса первоклассной организации — это истинная аристократия природы»,² он явно верит в это. Его защита расы, национальности, традиции, его отвращение к либеральному космополитизму, а также к атеизму, рационализму, свободной торговле — это подлинная вера, которой он жил. Единственный способ, которым он мог избежать того, что было ненормальным в его собственном положении, — это облачиться в игру преобразующей фантазии.

¹Сесил Рот, *op. cit.* (стр. 266, примечание 3 выше), стр. 85.

²Книга 4, глава 10, стр. 232.

How limited is human reason [he makes Sidonia exclaim], the profoundest inquirers are most conscious. We are not indebted to the Reason of man for any of the great achievements which are the landmarks of human action and human progress. It was not Reason that besieged Troy; it was not Reason that sent forth the Saracen from the Desert to conquer the world; that inspired the Crusades; that instituted the Monastic orders; it was not Reason that produced the Jesuits; above all, it was not reason that created the French Revolution. Man is only truly great when he acts from the passions; never irresistible but when he appeals to the imagination. Even Mormon counts more votaries than Bentham.

This comes from *Coningsby*.¹ 'Mormon counts more votaries than Bentham.' This is certainly an irrationalist creed. It is this that enabled him to say, 'I am not disposed for a moment to admit that my pedigree is not as good [as] and even superior to that of the Cavendishes',² a remark he made during the election of 1847; and again, 'Fancy calling a fellow an adventurer when his ancestors were probably on intimate terms with the Queen of Sheba.'³ His religious feeling, without which his involvement with Tory England is inexplicable, springs from the same source: when in the lecture at Oxford he said against Darwin and Huxley that he was on the side not of the apes but of the angels, I feel sure that this was more than a *bon mot*. It was typical of him: amusing, ironical, not intended to be taken seriously, and yet his deepest belief. There are those who can only bear to say what they most deeply feel in language purged of all solemnity. This sort of flippant irony may be defensive, but it is not therefore frivolous or superficial.

Unable to function in his proper person, as a man of dubious pedigree in a highly class-conscious society, Disraeli invented a splendid fairy tale, bound its spell upon the mind of England, and thereby influenced men and events to a considerable degree. Instead of ignoring or concealing his origins, which must have irked him when he was a schoolboy, and which were constantly cast in his face by his enemies (including Gladstone, who spoke of his fanaticism in the Jewish cause and called him a crypto-Jew), he went too far. He harps on it, exaggerates its importance, introduces it irrelevantly in his novels, and inserts a long excursus on the Jews in his life of Lord George Bentinck, which, he himself admits, has little to do with Bentinck's acts

¹ Book 4, chapter 13, p. 253.

² Cecil Roth, *op. cit.* (p. 266, note 3 above), p. 60.

³ *ibid.*

Насколько ограничен человеческий разум [он заставляет Сидонию воскликнуть], самые глубокие исследователи наиболее сознательны. Мы не обязаны Разуму человека ни одним из великих достижений, которые являются вехами человеческих действий и человеческого прогресса. Не Разум осадил Трою; не Разум послал сарацин из пустыни завоевывать мир; не Разум вдохновил Крестовые походы; не Разум учредил монашеские ордена; не Разум создал иезуитов; и, прежде всего, не Разум создал Французскую революцию. Человек по-настоящему велик только тогда, когда действует из страстей; никогда не бывает непреодолимым, но когда он взывает к воображению. Даже у Мормона больше приверженцев, чем у Бентама.

Это происходит из *Конингс*.¹ «Мормон насчитывает больше приверженцев, чем Бентам». Это, безусловно, иррационалистическое кредо. Именно это позволило ему сказать: «Я ни на минуту не склонен признать, что моя родословная не так хороша [как] и даже превосходит родословную Кавендишей»,² замечание, которое он сделал во время выборов 1847 года; и еще: «Прикольно называть человека авантюристом, когда его предки, вероятно, были в близких отношениях с царицей Савской».³ Его религиозное чувство, без которого его связь с тори-англичанами необъяснима, проистекает из того же источника: когда на лекции в Оксфорде он сказал против Дарвина и Гексли, что он на стороне не обезьян, а ангелов, я уверен, что это было нечто большее, чем просто *хорошее слово*. Это было типично для него: забавно, иронично, не предназначено для того, чтобы воспринимать его всерьез, и все же его глубочайшая вера. Есть те, кто может вынести только то, что они чувствуют наиболее глубоко, на языке, очищенном от всякой торжественности. Такого рода легкомысленная ирония может быть оборонительной, но она не является поэтому легкомысленной или поверхностной.

Неспособный действовать в своем собственном обличье, как человек сомнительного происхождения в высокочеловеческом обществе, Дизраэли придумал великолепную сказку, наложил ее чары на умы Англии и тем самым в значительной степени повлиял на людей и события. Вместо того чтобы игнорировать или скрывать свое происхождение, которое, должно быть, раздражало его, когда он был школьником, и которое постоянно бросали ему в лицо его враги (включая Гладстона, который говорил о его фанатизме в еврейском деле и называл его крипто-евреем), он зашел слишком далеко. Он твердит об этом, преувеличивает его важность, вводит его неуместно в свои романы и вставляет длинный экскурс о евреях в свою жизнь лорда Джорджа Бентинка, которая, как он сам признает, имеет мало общего с действиями Бентинка

¹ Книга 4, глава 13, стр. 253.

² Сесил Рот, *op. cit.* (стр. 266, примечание 3 выше), стр. 60. ³ там же.

or opinions: by way of preface to a lengthy refutation of the doctrine that the Jewish dispersion is a punishment for deicide, as being both theologically and historically unsound, he writes:

The toiling multitude rest every seventh day by virtue of a Jewish law; they are perpetually reading, 'for their example', the records of Jewish history and singing the odes and elegies of Jewish poets; and they daily acknowledge on their knees, with reverent gratitude, that the only medium of communication between the Creator and themselves is the Jewish race. Yet they treat that race as the vilest of generations . . .¹

as they did 'the Attic race' before the restoration of Greece as a modern state. Such excursions may crop up anywhere in his works. The idea of Jews grows obsessive: the world is for him populated with imaginary Jews: not only the all-powerful slightly sinister Sidonia, and the bizarre figures in *Tancred*, but a host of strange and surprising figures, early Jesuits and German professors, Russian diplomatists, Italian composers and prima donnas – all are Jews: they pull all the strings, they dominate all countries. 'All is race; there is no other truth,' says Sidonia;² 'progress and reaction are but words to mystify the millions . . . All is race,' he says in his life of Bentinck,³ and the Jews are the quintessence of race. He was possessed by the idea of race, and, indeed, by that of his own origins. He denounced the 'pernicious doctrine of modern times, the natural equality of man',⁴ the doctrine of cosmopolitanism, of mingling with 'inferior' races. Not socialism or internationalism but 'religion, property, and natural aristocracy' – these are the Jewish 'bias'.⁵ Jews do become revolutionaries, as in 1848, but only because of wounds inflicted on them by 'ungrateful Christendom'.⁶ He declares that

The political equality of a particular race is a matter of municipal arrangement and depends entirely on political considerations and circumstances; but the natural equality of man now in vogue, and taking the form of cosmopolitan fraternity, is a principle which, were it possible to act on it, would deteriorate the great races and destroy all the genius of the world.⁷

If the 'great Anglo-Saxon republic' allowed itself to 'mingle with their

¹ op. cit. (p. 271, note 1 above), pp. 482–3.

² *Tancred*, book 2, chapter 14, p. 153.

³ op. cit. (p. 271, note 1 above), p. 331.

⁴ *ibid.*, p. 496. ⁵ *ibid.*, p. 497. ⁶ *ibid.*, p. 498. ⁷ *ibid.*, p. 496.

или мнения: в качестве предисловия к пространному опровержению учения о том, что еврейское рассеяние является наказанием за богоубийство, как несостоятельного как с теологической, так и с исторической точки зрения, он пишет:

Трудящиеся массы отдыхают каждый седьмой день в силу еврейского закона; они постоянно читают, «для своего примера», записи еврейской истории и поют оды и элегии еврейских поэтов; и они ежедневно признают на коленях, с благоговейной благодарностью, что единственным средством общения между Создателем и ними является еврейская раса. И все же они относятся к этой расе как к самому отвратительному из поколений... J

как они сделали «аттической расой» до восстановления Греции как современного государства. Такие экскурсии могут возникнуть где угодно в его работах. Идея евреев становится навязчивой: мир для него населен воображаемыми евреями: не только всемогущей, слегка зловещей Сидонией, и странными фигурами в *Танкред*, но множество странных и удивительных фигур, ранние иезуиты и немецкие профессора, русские дипломаты, итальянские композиторы и примадонны — все евреи: они дергают за все ниточки, они господствуют во всех странах. «Все есть раса; нет другой истины», — говорит Сидония;² «Прогресс и реакция — это всего лишь слова, призванные мистифицировать миллионы... Все есть раса», — говорит он в своей биографии Бентинка.зи евреи — квинтэссенция расы. Он был одержим идеей расы, и, конечно, идеей своего собственного происхождения. Он осудил «пагубную доктрину современности, естественное равенство людей»,⁴ доктрина космополитизма, смешения с «низшими» расами. Не социализм или интернационализм, а «религия, собственность и природная аристократия» — вот еврейские «предубеждения». ⁵Евреи действительно становятся революционерами, как в 1848 году, но только из-за ран, нанесенных им «неблагодарным христианским миром». ⁶Он заявляет, что

Политическое равенство отдельной расы является вопросом муниципального устройства и зависит исключительно от политических соображений и обстоятельств; но естественное равенство людей, которое сейчас в моде и принимает форму космополитического братства, является принципом, который, если бы его можно было реализовать, привел бы к упадку великих рас и уничтожил бы весь гений мира.⁷

Если «великая англосаксонская республика» позволила себе «смешаться с их

¹ор. cit. (стр. 271, примечание 1 выше), стр. 482-3.

²*Танкред*, книга 2, глава 14, стр. 153.

³ор. cit. (стр. 271, примечание 1 выше), стр. 331.

⁴там же, стр. 496. ⁵там же, стр. 497. ⁶там же, стр. 498.

⁷там же, стр. 496.

negro and coloured populations' they would decline and 'probably be reconquered' by the very 'aborigines whom they have expelled and who would then be their superiors'.¹ But this will not be: 'it is in vain for man to attempt to baffle the inexorable law of nature which has decreed that a superior race shall never be destroyed or absorbed by an inferior'.² That is why the Jews have survived: 'for none but one of the great races could have survived the trials which it has endured'.³ The basis of Disraeli's claims on behalf of the Jews is their 'Arabian' faith and the glories of their sacred history. It is arguable that such an argument could not have originated in, or been addressed to, any society less given to veneration of the past or intimate knowledge of Biblical texts, than that of Victorian England (and Scotland). Fichte and Arndt, Gobineau and Danilevsky, based their racist or biological fantasies on very different grounds.

Disraeli was one of the most troubled and most gifted of these 'alienated' men, whose problems today worry politicians, sociologists, educators, psychologists and all those who are concerned with the disintegrating effects of centralisation and industrialism. Of all the uprooted individuals and groups whom the nineteenth century generated, the Jews were, perhaps, the most striking and tragic example. It became clear that some way out of their dilemmas would have to be found, if they were not to be driven out of their minds, or drive others out of theirs. Assimilation, socialism, nationalism, redoubled efforts to preserve the ancient Jewish faith in all its rigour and purity, all these solutions have been proffered. The life of Benjamin Disraeli, the least Victorian of the Victorian age, a man out of his proper element, yet subduing it by sheer power of will and imagination, is one of the most vivid illustrations of a desperate search for a set of operative ideas, a plan of action, but above all, for a group loyalty, a regiment with which he could identify himself, in whose name he could speak and act, because he could not face the awful prospect of speaking in his own – indeed, he could not be certain that, if he tried to find what was his own, he would find an answer. The very doubt was unbearable. If the answer could not be found, it would have to be invented. Disraeli's conceptions of England, Europe, Jews, himself, were bold romantic fantasies. 'When I want to read a novel,' he once declared, 'I write one.'⁴ His entire life was a sustained attempt to live a fiction, and to cast its spell over the minds of others.

¹ *ibid.*

² *ibid.*, p. 495.

³ *ibid.*, p. 490.

⁴ See Wilfrid Meynell, *The Man Disraeli* (London, 1927), p. 220.

«негритянское и цветное население» придет в упадок и «вероятно, будет вновь завоевано» теми самими «аборигенами, которых они изгнали и которые затем станут их начальниками».¹ Но этого не произойдет: «тщетно человеку пытаться обойти неумолимый закон природы, который постановил, что высшая раса никогда не будет уничтожена или поглощена низшей».² Вот почему евреи выжили: «ибо только одна из великих рас смогла бы пережить испытания, которые ей пришлось перенести».³ Основой притязаний Дизраэли от имени евреев является их «арабская» вера и слава их священной истории. Можно утверждать, что такой аргумент не мог возникнуть или быть адресован ни одному обществу, менее преданному почитанию прошлого или близкому знанию библейских текстов, чем общество викторианской Англии (и Шотландии). Фихте и Арндт, Гобино и Данилевский основывали свои расистские или биологические фантазии на совершенно иных основаниях.

Дизраэли был одним из самых обеспокоенных и самых одаренных из этих «отчужденных» людей, чьи проблемы сегодня беспокоят политиков, социологов, педагогов, психологов и всех тех, кто озабочен дезинтегрирующими эффектами централизации и индустриализма. Из всех вырванных с корнем людей и групп, которых породил девятнадцатый век, евреи были, возможно, самым ярким и трагическим примером. Стало ясно, что нужно найти какой-то выход из их дилемм, если они не хотят сойти с ума или сойти с ума других. Ассимиляция, социализм, национализм, удвоенные усилия по сохранению древней еврейской веры во всей ее строгости и чистоте — все эти решения были предложены. Жизнь Бенджамина Дизраэли, наименее викторианца викторианской эпохи, человека, находящегося вне своей стихии, но все же подчиняющего ее себе силой воли и воображения, является одной из самых ярких иллюстраций отчаянного поиска набора действенных идей, плана действий, но прежде всего групповой лояльности, полка, с которым он мог бы себя идентифицировать, от имени которого он мог бы говорить и действовать, потому что он не мог справиться с ужасной перспективой говорить от своего имени — на самом деле, он не мог быть уверен, что, если он попытается найти то, что было его собственным, он найдет ответ. Само сомнение было невыносимым. Если ответ не мог быть найден, его приходилось придумывать. Представления Дизраэли об Англии, Европе, евреях, о себе самом были смелыми романтическими фантазиями. «Когда я хочу прочитать роман, — заявил он однажды, — я его пишу».⁴ Вся его жизнь была постоянной попыткой прожить вымысел и очаровать им умы других.

¹там же.

²там же, стр. 495.

³там же, стр. 490.

⁴См. Уилфрида Мейнелла, *Человек Дизраэли* (Лондон, 1927), стр. 220.

I shall not dwell at length on Disraeli's diametrical opposite, Karl Marx, whose case is better known. Karl Marx, as we all know, took a path directly contrary to that of Disraeli. So far from spurning reason, he wished to apply it to human affairs. He believed himself to be a scientist, Engels saw him as the Darwin of the social sciences. He wished to perform a rational analysis of what caused social development to occur as it did, why human beings had hitherto largely failed, and why they could and would in the future succeed in attaining to peace, harmony, cooperation and, above all, the self-understanding which is a prerequisite of rational self-direction.

This was remote from Disraeli's mode of thought; indeed it was what he most deeply abhorred. Yet there is something analogous about their social environment. Marx was directly descended from two long generations of rabbis. His father belonged, as Disraeli's did, to the first generation of emancipated Jews: both were mild conformists against whom their sons seemed to react violently, even while they retained affection for them, if no deep respect. Since Marx was baptised, he did not suffer from the disabilities of the Jews in Germany. But he was subject to anti-Semitic gibes from fellow socialists and radicals during the greater part of his life – he was taunted on this account by the Russian anarchist Bakunin, and he could scarcely have been unaware of Proudhon's violent hatred of the Jews, or of the similar views held by Arnold Ruge and Eugen Dühring. He attacks these men with violence; but there is no hint about his own Jewish origins. On this he is silent. His only contact with Jews as such is mentioned in a letter to Ruge, in 1843,¹ in which he writes that 'the President of the Israelites here [in Cologne] has just come to see me to get my help in the matter of a petition from the Jews addressed to the Diet. I will do it for them, repugnant as the Israelite faith is to me.' He explains this on the ground that the inevitable rejection of Jewish petitions, by causing resentment to grow, might be a blow at the Christian state. He mentions his origins, we are told by Marxologists, only once: in a letter to his uncle in Holland, Lion Philips, in 1864, he refers – as it happens – to Disraeli as a man coming 'from our common stock'.²

¹ Letter of 13 March 1843, Karl Marx, Friedrich Engels, *Werke* (East Berlin, 1956–) (hereafter *Werke*), vol. 27 (1973), p. 418.

² 'Unser Stammgenosse'. Letter of 29 November 1864, *Werke*, vol. 31 (1975), p. 432.

Я не буду подробно останавливаться на диаметральной противоположности Дизраэли, Карле Марксе, чей случай более известен. Карл Маркс, как мы все знаем, пошел по пути, прямо противоположному пути Дизраэли. Он был далек от того, чтобы отвергать разум, он хотел применить его к человеческим делам. Он считал себя ученым, Энгельс видел в нем Дарвина социальных наук. Он хотел провести рациональный анализ того, что заставило общественное развитие происходить именно так, как оно происходило, почему люди до сих пор в значительной степени терпели неудачу и почему они могут и будут в будущем добиваться мира, гармонии, сотрудничества и, прежде всего, самопонимания, которое является предпосылкой рационального самонаправления.

Это было далеко от образа мыслей Дизраэли; на самом деле, это было то, что он больше всего ненавидел. Однако в их социальной среде есть нечто аналогичное. Маркс был прямым потомком двух долгих поколений раввинов. Его отец принадлежал, как и отец Дизраэли, к первому поколению эмансипированных евреев: оба были умеренными конформистами, на которых их сыновья, казалось, реагировали бурно, даже сохраняя к ним привязанность, если не глубокое уважение. Поскольку Маркс был крещен, он не страдал от недостатков евреев в Германии. Но он подвергался антисемитским насмешкам со стороны собратьев-социалистов и радикалов в течение большей части своей жизни — его по этому поводу высмеивал русский анархист Бакунин, и он вряд ли мог не знать о жестокой ненависти Прудона к евреям или о схожих взглядах, которых придерживались Арнольд Руге и Ойген Дюринг. Он яростно нападает на этих людей; но нет никаких намеков на его собственное еврейское происхождение. Об этом он молчит. Его единственный контакт с евреями как таковыми упоминается в письме к Руге в 1843 году:¹ в котором он пишет, что «президент израильтян здесь [в Кельне] только что пришел ко мне, чтобы получить мою помощь в деле петиции от евреев, адресованной сейму. Я сделаю это для них, как бы отвратительна ни была для меня израильская вера». Он объясняет это тем, что неизбежное отклонение еврейских петиций, вызывая рост негодования, может стать ударом по христианскому государству. Он упоминает свое происхождение, как нам говорят марккологи, только один раз: в письме к своему дяде в Голландии, Лиону Филипсу, в 1864 году он ссылается — как это и происходит — на Дизраэли как на человека, происходящего «из нашего общего ствола».²

¹Письмо от 13 марта 1843 г. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, *Верке* (Восточный Берлин, 1956—) (далее *Верке*), т. 27 (1973), стр. 418.

²«Unser Stammgenosse». Письмо от 29 ноября 1864 г., *Верке*, том 31 (1975), С-432.

This is all. He comments casually and not unsympathetically on the conditions of the poor Jews in Jerusalem, who, Disraeli had remarked earlier in the century, were being converted by Christian missionaries at twenty piastres a head. He sent a dedicated copy of *Das Kapital* to the Jewish historian Heinrich Graetz. Apart from this, his attitude to Jews is uncompromisingly hostile. In a celebrated passage in his essay *On the Jewish Question* of 1844, he says that the secular morality of the Jews is egoism, their secular religion is huckstering, their secular god is money. The real God of the Jews is the bill of exchange. 'Money is the zealous God of Israel, before whom no other god may be',¹ and this is, in effect, repeated in the summary of the argument in *The Holy Family*. His specific argument against Bruno Bauer's objections to Jewish emancipation is not relevant: what is striking is the ferocity of his language, which resembles that of many later anti-Semitic tracts, both right- and left-wing, German, French, Russian, English: chauvinistic and Fascist, anarchist and communist, in the past and in growing measure in our own time.

In the *Theses on Feuerbach* of 1845, Marx speaks of a mistaken conception of praxis in its 'dirty Jewish manifestation'.² He calls the Paris Bourse the 'stock exchange synagogue', suggests that the tenth muse is Hebraic – 'the muse of stock exchange quotations'. He omits no opportunity of stressing the Jewish origin of the Foulds, the Rothschilds, and other financiers in Paris, and in 1856, in one of his articles in the *New York Tribune*, remarks: 'every tyrant is backed by a Jew and every Pope by a Jesuit'. His language rises to a climax of real hatred when he speaks of Lassalle (who remained unbaptised and did not conceal his Jewish sentiments). In a letter to Engels,³ he calls him 'the Jewish nigger', and advances the hypothesis that Negro blood must have entered his veins as the result of the racial admixtures acquired by the Jews during the exodus from Egypt.⁴ In another letter he complains of Lassalle's typically 'Jewish whine'.⁵ Lassalle is usually

¹ *Werke*, vol. I (1974), p. 374.

² *Werke*, vol. 3 (1969), p. 5.

³ Letter of 30 July 1862, *Werke*, vol. 30 (1974), pp. 257–9.

⁴ *ibid.*, p. 259: 'As the shape of his head and the texture of his hair suggest, he is descended from the negroes who joined Moses in his exodus from Egypt (unless his mother or paternal grandmother were crossed with a nigger). This union of Jew and German with its negro source was bound to produce a strange hybrid. The fellow's importunity is also negro.'

⁵ *Werke*, vol. 30 (1974), p. 164.

Это все. Он небрежно и не без сочувствия комментирует условия жизни бедных евреев в Иерусалиме, которых, как заметил Дизраэли в начале века, обращали в христианство христианские миссионеры по двадцать пиастров с человека. Он послал специальную копию *Капитала* еврейскому историку Генриху Грецу. Кроме того, его отношение к евреям бескомпромиссно враждебно. В знаменитом отрывке его эссе *О еврейском вопросе* 1844 года он говорит, что светская мораль евреев — эгоизм, их светская религия — торгашество, их светский бог — деньги. Настоящий Бог евреев — вексель. «Деньги — ревностный Бог Израиля, перед которым не может быть никакой другой бог»,¹ и это, по сути, повторяется в резюме аргумента в *Святое Семейство*. Его конкретный аргумент против возражений Бруно Бауэра против еврейской эмансипации не имеет значения: поражает свирепость его языка, которая напоминает язык многих более поздних антисемитских трактатов, как правых, так и левых, немецких, французских, русских, английских: шовинистических и фашистских, анархистских и коммунистических, в прошлом и все более распространенных в наше время.

В Тезисы о Фейербахе В 1845 году Маркс говорит об ошибочном понимании практики в ее «грязном еврейском проявлении».² Он называет Парижскую биржу «биржевой синагогой», предполагает, что десятая муза — еврейская — «муза биржевых котировок». Он не упускает возможности подчеркнуть еврейское происхождение Фулдов, Ротшильдов и других финансистов Парижа, а в 1856 году в одной из своих статей в *New York Трибуна*³ замечает: «за каждым тираном стоит еврей, а за каждым папой — иезуит». Его язык достигает апогея настоящей ненависти, когда он говорит о Лассале (который остался некрещеным и не скрывал своих еврейских чувств). В письме к Энгельсу,⁴ он называет его «еврейским негром» и выдвигает гипотезу, что негритянская кровь, должно быть, попала в его жилы в результате расовых примесей, приобретенных евреями во время исхода из Египта.⁴ В другом письме он жалуется на типичное «еврейское нытье» Лассалья.⁵ Лассаль обычно

¹Верке, т. 1 (1974), стр. 374.

²ИФерке, т. 3 (1969), стр. 5.

³Письмо от 30 июля 1862 г. Верке, т. 30 (1974), стр. 2 57-9.

⁴ibid., стр. 259: «Как показывают форма его головы и структура его волос, он произошел от негров, которые присоединились к Моисею в его исходе из Египта (если только его мать или бабушка по отцовской линии не были скрещены с негром). Этот союз еврея и немца с его негритянским происхождением должен был произвести на свет странный гибрид. Назойливость этого парня также негритянского происхождения».

⁵Верке, т. 30 (1974), стр. 164.

referred to as Itzig, or Baron Itzig. (There was a real person of this name, a banker, in the eighteenth century, much mocked by Heine, but here the name is used as a derogatory nickname for a Jew. Itzig is a swindler, a usurer, in Gustav Freytag's *Soll und Haben*, and, like Lassalle, a Silesian Jew.) There is therefore something odd, to say the least, in the assertion made in a publication of the Marx-Engels Institute in 1943 that 'Marx denounced anti-Semitism in the strongest terms.' It is difficult to resist Thomas Masaryk's judgement that Marx is justly described as anti-Semitic. Yet it is clear that the issue was not one of complete indifference to him. When his son-in-law, Longuet, in his obituary of Marx's wife, Jenny von Westphalen, written for the socialist journal *La Justice* in 1881,¹ wrote of her hard fight against the resistance of her family to her marriage to him, and attributed this to racial prejudice, Marx was furious. He wrote to his daughter, Longuet's wife, that no such prejudice existed in the Westphalen family, and said that Monsieur Longuet would oblige him if he never mentioned his name again. That no anti-Semitic feeling at all existed even among enlightened aristocrats in the Rhineland at that period is not probable. The testimony of both Heine and Hess scarcely supports this. Even if the Westphalens were wholly untouched by anti-Semitism, Marx's reaction seems, on the face of it, over-violent. This was evidently a painfully sensitive area. What does seem clear is that Marx was a man of strong will and decisive action, who decided once and for all to destroy within himself the source of the doubts, uneasiness and self-questioning which tended to torment men like Börne, Heine, Lassalle and a good many others, including the founders of reform Judaism, and – until he resolved the problem in a Zionist sense – the first German communist, Moses Hess, whose origins and intellectual formation resembled Marx's own.

Marx contemptuously swept this question out of the way and decided to treat it as unreal. No doubt he would have found this more difficult if he had not been genuinely remote from Judaism. Yet he, too, was faced with the difficulty that the youthful Disraeli had encountered: he wished not merely to describe society but to alter it. He wanted to make his mark. He was a fighter, and wished to destroy those whom he conceived as obstacles to human progress. Germany in his day was more acutely nationalistic, after her humiliation by the French, not only under Napoleon but continuously during the two preceding centuries, than England or Holland or Italy or even France.

¹ *La Justice*, 7 December 1881.

упоминается как Итциг, или барон Итциг. (В восемнадцатом веке существовал реальный человек с таким именем, банкир, которого Гейне много высмеивал, но здесь это имя используется как уничижительное прозвище для еврея. Итциг — мошенник, ростовщик, в романе Густава Фрейтага *So// und Ha ben*, (и, как и Лассаль, силезский еврей.) Поэтому есть что-то странное, если не сказать больше, в утверждении, сделанном в публикации Института Маркса-Энгельса в 1943 году, что «Маркс осуждал антисемитизм в самых решительных выражениях». Трудно не согласиться с суждением Томаса Масарика, что Маркса справедливо называют антисемитом. Однако ясно, что вопрос не был для него полным безразличием. Когда его зять Лонге в своем некрологе жене Маркса, Женни фон Вестфален, написанном для социалистического журнала *La Justice* в 1881 году, писала о ее тяжелой борьбе с сопротивлением ее семьи ее браку с ним и приписывала это расовым предрассудкам, Маркс был в ярости. Он написал своей дочери, жене Лонге, что никаких подобных предрассудков не существует в семье Вестфаленов, и сказал, что месье Лонге сделает ему одолжение, если он никогда больше не упомянет его имени. То, что в тот период даже среди просвещенных аристократов в Рейнской области вообще не существовало антисемитских настроений, маловероятно. Свидетельства Гейне и Гесса едва ли подтверждают это. Даже если Вестфалены были совершенно не затронуты антисемитизмом, реакция Маркса, на первый взгляд, кажется чрезмерно жестокой. Это была, очевидно, болезненно чувствительная область. Кажется очевидным, что Маркс был человеком сильной воли и решительных действий, решившим раз и навсегда уничтожить в себе источник сомнений, беспокойства и самоанализа, которые терзали таких людей, как Борне, Гейне, Лассаль и многих других, включая основателей реформистского иудаизма, а также — пока он не решил эту проблему в сионистском смысле — первого немецкого коммуниста Моисея Гесса, чье происхождение и интеллектуальное формирование напоминали собственные Маркса.

Маркс презрительно отмахнулся от этого вопроса и решил рассматривать его как нереальный. Несомненно, ему было бы труднее, если бы он не был по-настоящему далек от иудаизма. Однако он тоже столкнулся с трудностью, с которой столкнулся молодой Дизраэли: он хотел не просто описать общество, но и изменить его. Он хотел оставить свой след. Он был борцом и хотел уничтожить тех, кого он считал препятствиями на пути человеческого прогресса. Германия в его время была более остро националистична, после ее унижения французами, не только при Наполеоне, но и непрерывно в течение двух предыдущих столетий, чем Англия, Голландия, Италия или даже Франция.

1Правосудие, 7 декабря 1881 года.

Extreme German chauvinism had taken pathologically anti-Semitic forms in the years before Marx's birth. This occurred in the Rhineland no less than elsewhere in Germany. Anti-Jewish feeling was not confined to religious intolerance. In the powerful propaganda of Arndt, Jahn, Goerres, and for that matter also Fichte, and in the outbreaks of patriotic student associations, it was openly racist. Lassalle once said, with penetrating candour, that if he had not been born a Jew he would probably have become a right-wing nationalist. Indeed, one of the traits which made the socially ambitious, at times intolerably showy and vain, Lassalle so astonishingly effective as an agitator and organiser of German socialism was his complete personal integrity. It was this as much as anything that enabled him to exercise a moral influence over the German workers scarcely ever again attained by anyone else.

Marx's systematic omission of all references to his own origins and the taunts with which his references to Jews were accompanied are attributed by the eminent Russo-Jewish historian Simon Dubnov to the natural hatred of a renegade for the camp which he has deserted – which need not prevent him from attacking others, for example Joseph Moses Levy, the proprietor of the London *Daily Telegraph*, for concealing their Jewish origins. But I suspect that Werner Blumenberg comes nearer the truth when he attributes this notorious fact to a peculiar form of self-hatred to which others among the newly emancipated Jews were also liable.¹ Disraeli, in describing his grandmother Sarah Shiprut, once said that she 'had imbibed that dislike for her race which the vain are too apt to adopt when they find that they are born to public contempt'.² This, it seems to me, does something to explain the attitude to his former brethren of the otherwise rational and realistic Karl Marx. Self-hatred is not a mysterious phenomenon. Most human beings are affected by opinions prevalent in their environment, especially when these are long and widely held. Anti-Semitism was, after all, a universal sentiment in Europe long before Marx's day, and became exceedingly virulent in Napoleonic and post-Napoleonic Germany. It naturally breeds self-contempt and self-hatred among its victims, who cannot but judge themselves in the light of the normal values prevalent in their society. This was less general while the Jews were insulated in the ghetto; the two ways of life touched at the edges, but did not collide. But contact and mingling with their fellows

¹ Werner Blumenberg, *Karl Marx* (London, 1972), p. 60.

² *op. cit.* (p. 266, note 1 above), p. x.

БЕНДЖАМИН ДИЗРАЭЛИ И КАРЛ МАРКС

Крайний немецкий шовинизм принял патологически антисемитские формы в годы до рождения Маркса. Это происходило в Рейнской области не реже, чем в других местах Германии. Антиеврейские настроения не ограничивались религиозной нетерпимостью. В мощной пропаганде Арндта, Яна, Герреса и, если на то пошло, также Фихте, и во вспышках патриотических студенческих объединений они были открыто расистскими. Лассаль однажды сказал с пронзительной откровенностью, что если бы он не родился евреем, то, вероятно, стал бы правым националистом. Действительно, одной из черт, которая делала социально амбициозного, порой невыносимо показного и тщеславного Лассаля столь поразительно эффективным агитатором и организатором немецкого социализма, была его полная личная честность. Именно это, как и все остальное, позволяло ему оказывать моральное влияние на немецких рабочих, которое едва ли когда-либо достигал кто-либо другой.

Систематическое упущение Марксом всех ссылок на свое собственное происхождение и насмешки, которыми сопровождалась его ссылка на евреев, выдающийся русско-еврейский историк Саймон Дубнов приписывает естественной ненависти ренегата к лагерю, который он покинул. — что не должно мешать ему нападать на других, например, на Джозефа Мозеса Леви, владельца лондонского *Ежедневная телеграфия* за сокрытие своего еврейского происхождения. Но я подозреваю, что Вернер Блюменберг подходит ближе к истине, когда приписывает этот печально известный факт особой форме ненависти к себе, которой были подвержены и другие недавно эмансипированные евреи.¹ Дизраэли, описывая свою бабушку Сару Шипрут, однажды сказал, что она «впитала ту неприязнь к своей расе, которую тщеславные люди склонны перенимать, когда понимают, что они рождены для общественного презрения».² Это, как мне кажется, в какой-то степени объясняет отношение к своим бывшим собратям в остальном рационального и реалистичного Карла Маркса. Ненависть к себе — не таинственное явление. Большинство людей подвержены влиянию мнений, распространенных в их окружении, особенно когда они давно и широко распространены. Антисемитизм был, в конце концов, всеобщим чувством в Европе задолго до времен Маркса и стал чрезвычайно опасным в наполеоновской и постнаполеоновской Германии. Он естественным образом порождает презрение к себе и ненависть к себе среди своих жертв, которые не могут не судить себя в свете нормальных ценностей, распространенных в их обществе. Это было менее распространено, пока евреи были изолированы в гетто; два образа жизни соприкасались по краям, но не сталкивались. Но контакт и смешение с себе подобными

¹Вернер Блюменберг, *Карл Маркс* (Лондон, 1972), стр. 60.

²op. cit. (стр. 266, примечание 1 выше), рх

exposed the Jews to new modes of thought and, as part of these, to systems of values in terms of which they stood condemned.

The term *juedischer Selbsthass* – Jewish self-hatred (as opposed to self-criticism or realistic analysis) – was appropriately enough coined by a German-Jewish writer, Theodor Lessing, and describes a feeling with the peculiar manifestations of which all Heine's readers are familiar. It is, after all, in Germany that a Jewish party,¹ however small and today justly forgotten, accepted Hitler's estimate of the Jewish character, and declared the Jews to be their own greatest misfortune. Perhaps the most violent of all forms of Jewish self-abasement is to be found in the one Jewish writer admired by the Nazis, the once celebrated Otto Weininger, who suffered from paroxysms of Jewish self-hatred. There is painful evidence of a neurotic distortion of the problem in the diaries of Rathenau, with his ecstatic admiration for the anti-Semitic nationalists who ultimately murdered him; there are symptoms of it in the high-minded and deeply tormented essays of Simone Weil, and in the works of some living Jewish writers whom it would be uncharitable to mention. This is the kind of milieu in an early phase of which Marx grew to manhood. But he had a stronger and harsher nature than those who grappled with what, at times, developed into a psychosis that lasted all their lives. The baptised Jewish intellectual, still regarded as racially a Jew by his fellows, could not hope to be politically effective so long as nationalism remained a problem for him. It had somehow to be eliminated as an issue. Consciously or not, Marx all his life systematically underestimated nationalism as an independent force – an illusion which led his followers in the twentieth century to a faulty analysis of Fascism and National Socialism, for which many of them paid with their lives, and which led to a good deal of false diagnosis and prediction of the course of human history in our own time. Despite the depth and originality of his major theses, Marx failed to give an adequate account of the sources and nature of nationalism, and underestimated it, as he underestimated the force of religion, as an independent factor in society. This is one of the major weaknesses of his great synthesis.

Once again an effort to escape from intolerable reality is observable. As Disraeli, faced with a similar predicament, identified himself with the British landed aristocracy and gentry, and worked his magic on the squires and the great landowners until they all but accepted his metamorphosis, so Marx, too, donned a uniform that liberated him

¹ Verband deutschnationaler Juden, led by Max Naumann.

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

познакомили евреев с новыми способами мышления и, как часть этого, с системами ценностей, в соответствии с которыми они подвергались осуждению.

Термин *юдишер Selhsthass*—Еврейская ненависть к себе (в отличие от самокритики или реалистического анализа) — была достаточно удачно сформулирована немецко-еврейским писателем Теодором Лессингом и описывает чувство, с особыми проявлениями которого знакомы все читатели Гейне. В конце концов, именно в Германии еврейская партия,¹ как бы малы они ни были и сегодня справедливо забыты, приняла оценку Гитлера еврейского характера и объявила евреев своим величайшим несчастьем. Возможно, самая жестокая из всех форм еврейского самоуничтожения встречается у одного еврейского писателя, которым восхищались нацисты, некогда знаменитого Отто Вайнингера, который страдал от пароксизмов еврейской ненависти к себе. В дневниках Ратенау есть болезненные свидетельства невротического искажения проблемы с его экстатическим восхищением антисемитскими националистами, которые в конечном итоге убили его; симптомы этого есть в возвышенных и глубоко мучительных эссе Симоны Вайль и в работах некоторых ныне живущих еврейских писателей, упоминать о которых было бы немилосердно. Это своего рода среда, в ранней фазе которой Маркс вырос и возмужал. Но у него была более сильная и жесткая натура, чем у тех, кто боролся с тем, что порой перерастало в психоз, длившийся всю их жизнь. Крещеный еврейский интеллектуал, которого его собратья все еще считали расово евреем, не мог надеяться на политическую эффективность, пока национализм оставался для него проблемой. Его нужно было как-то устранить как проблему. Сознательно или нет, Маркс всю свою жизнь систематически недооценивал национализм как независимую силу — иллюзия, которая привела его последователей в двадцатом веке к ошибочному анализу фашизма и национал-социализма, за который многие из них заплатили своими жизнями, и которая привела к большому количеству ложных диагнозов и предсказаний хода человеческой истории в наше время. Несмотря на глубину и оригинальность своих основных тезисов, Маркс не смог дать адекватного отчета об источниках и природе национализма и недооценил его, как он недооценил силу религии, как независимого фактора в обществе. Это одна из главных слабостей его великого синтеза.

Снова наблюдается попытка уйти от невыносимой реальности. Как Дизраэли, столкнувшись с похожим затруднительным положением, отождествлял себя с британской земельной аристократией и джентри и творил свою магию с помещиками и крупными землевладельцами, пока они все не приняли его метаморфозу, так и Маркс надел форму, которая освободила его

¹Verband deutschnationaler Juden под руководством Макса Хауманна.

from his own oppressive garments and entered and transformed a movement and a party that bore none of the scars of the highly vulnerable social group in which he was brought up. In short, as all the world knows, Marx identified himself with a social force, the great international class of the disinherited workers, in whose name he could thunder his anathemas, the class which his writings would arm for inevitable victory, inasmuch as its triumph seemed to him to embody the promise of all that he truly believed in: reason in action, the establishment of a harmoniously, rationally organised society, the end of the self-destructive struggles that distorted the vision and the acts of mankind – in a word, the proletariat. Marx had as little affinity with individual proletarians – individual unskilled factory workers or miners or landless labourers – as Disraeli with the inner core of the British upper class. That is to say, the group in question was an intensive object of study to Disraeli and Marx respectively; it was their subject and the ark of their covenant; they had made themselves its poets and its priests, even though Marx claimed scientific status; but they remained outside it, observers, analysts, propagandists, allies, champions, leaders, but not of it, not its kith and kin.

The proletariat remains an abstract category in Marx. Despite all his accusations against other thinkers of ignoring history, of indulging in timeless abstractions, of erecting idealised entities and then treating them as real men engaged in the processes of real life, he himself is not wholly innocent in this respect. His proletarians are a body of men without national allegiance, utterly deprived of all but the barest means of life, mere machine fodder, men so destitute as to have almost no individual needs of their own, starving, brutalised, scarcely at the minimum subsistence level. This concept of the workers, even in the terrible nineteenth century, even today in countries where conditions are still abominable, is nevertheless an abstraction. The picture is too stylised, too undifferentiated. Marx knew poverty and he knew humiliation; he grasped the dynamics of modern industrialism as a worldwide system, in all its guises and disguises, as no one had done before him. He understood the mentality and activities of capitalists in his own time, both in general and in specific cases, with an accuracy of vision sharpened by indignation and hatred, and with a degree of intellectual and prophetic power, not hitherto brought to bear on fully developed industrial society. But when he speaks of the proletariat, he speaks not of real workers but of humanity in general, or, at times, of his own indignant self. When he denies that any armistice or

БЕНДЖАМИН ДИЗРАЭЛИ И КАРЛ МАРКС

от своих собственных гнетущих одежд и вошел и преобразовал движение и партию, которые не несли на себе ни одного из шрамов крайне уязвимой социальной группы, в которой он был воспитан. Короче говоря, как известно всему миру, Маркс отождествлял себя с социальной силой, великим международным классом обездоленных рабочих, во имя которого он мог громогласно провозглашать свои анафемы, классом, который его труды вооружали для неизбежной победы, поскольку его триумф казался ему воплощением обещания всего того, во что он действительно верил: разум в действии, установление гармонично, рационально организованного общества, конец саморазрушительной борьбы, которая искажала видение и действия человечества — одним словом, пролетариат. Маркс имел столь же мало родства с отдельными пролетариями — отдельными неквалифицированными фабричными рабочими, шахтерами или безземельными рабочими — как Дизраэли с внутренним ядром британского высшего класса. То есть, рассматриваемая группа была объектом пристального изучения для Дизраэли и Маркса соответственно; она была их предметом и ковчегом их завета; они сделали себя ее поэтами и ее жрецами, хотя Маркс и претендовал на научный статус; но они оставались вне ее, наблюдателями, аналитиками, пропагандистами, союзниками, поборниками, лидерами, но не ее частью, не ее родными и близкими.

Пролетариат остается абстрактной категорией у Маркса. Несмотря на все его обвинения в адрес других мыслителей в игнорировании истории, в потворстве вневременным абстракциям, в возведении идеализированных сущностей и последующем обращении с ними как с реальными людьми, вовлеченными в процессы реальной жизни, он сам не совсем невинен в этом отношении. Его пролетарии — это совокупность людей без национальной принадлежности, полностью лишенных всего, кроме самых элементарных средств к существованию, просто корм для машин, люди настолько нищие, что не имеют почти никаких собственных индивидуальных потребностей, голодающие, огрубевшие, едва находящиеся на минимальном уровне существования. Это понятие рабочих, даже в ужасном девятнадцатом веке, даже сегодня в странах, где условия все еще отвратительны, тем не менее является абстракцией. Картина слишком стилизована, слишком недифференцирована. Маркс знал бедность и знал унижение; он понял динамику современного индустриализма как всемирной системы, во всех ее обличьях и масках, как никто до него. Он понял менталитет и деятельность капиталистов своего времени, как в целом, так и в конкретных случаях, с точностью видения, обостренной негодованием и ненавистью, и с определенной степенью интеллектуальной и пророческой силы, до сих пор не проявленной в полностью развитом индустриальном обществе. Но когда он говорит о пролетариате, он говорит не о реальных рабочих, а о человечестве в целом, или, порой, о своем собственном возмущенном «я». Когда он отрицает, что какое-либо перемирие или

compromise between the classes can be reached, when he denounces appeals for understanding, and prophesies that the last shall be first, that the arrogant enemy who lords it today will bite the dust when the day of the revolution comes, it is the oppression of centuries of a people of pariahs, not of a recently risen class, that seems to be speaking in him. The insults he is avenging and the enemies he is pulverising are, as often as not, his own: the adversary, the bourgeoisie and its executives – governments, judges, policemen – are the persecutors of the rootless cosmopolitans, the revolutionary Jewish intellectuals, the cosmopolitan avengers of insulted mankind. This it is that lends passion and reality to his words, and for that very reason they appeal most deeply to other persons like himself, alienated members of a world-wide intelligentsia, the dispossessed *révoltés* children of bourgeois or aristocratic parents, outraged by the injustice or the irrationality and vulgarity of the order supported by their own class. Marx spoke to such men, and speaks to them still, more directly than to operatives in the factories of industrialised countries in whose name he is ostensibly addressing mankind. Marx's proletariat is a class to some extent constructed after Marx's own specifications, as a vessel to carry the vials of his justified wrath. Its function in his system is similar to that of its exact opposite – the racial élites of *Coningsby* and *Tancred* and *Lothair* and *Contarini Fleming* in Disraeli – as the voice of the author, the idealised human beings with whom and with whose ills the author identifies himself, the platform, as it were, from which he can direct his fire. The class, which embodies the vision of the writer, despite all talk of concreteness, remains idealised.

Let me repeat my thesis. When Marx speaks for the proletariat, in particular when he alters the history of socialism (and of mankind) by asserting that there is no common interest between the proletarians and the capitalists, and therefore no possibility of reconciliation; when he insists that there is no common ground, and therefore no possibility of converting the opponents of mankind by appeals to common principles of justice, or common reason or common desire for happiness, for there are no such things; when, by the same token, he denounces appeals to the humanity or sense of duty of the bourgeois as mere pathetic delusion on the part of their victims, and declares a war of extermination against capitalism, and prophesies the triumph of the proletariat as the inexorable verdict of history itself, of the triumph of human reason over human irrationality – when he says all that (and is virtually the first to say it, for the Puritans and Jacobins did, at least

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

Компромисс между классами может быть достигнут, когда он осуждает призывы к пониманию и пророчествует, что последние станут первыми, что надменный враг, который правит сегодня, будет повержен, когда наступит день революции, это угнетение веков народа парий, а не недавно поднявшегося класса, кажется, говорит в нем. Оскорбления, за которые он мстит, и враги, которых он сокрушает, чаще всего являются его собственными: противник, буржуазия и ее руководители — правительства, судьи, полицейские — являются преследователями безродных космополитов, революционных еврейских интеллектуалов, космополитических мстителей оскорбленного человечества. Именно это придает его словам страсть и реальность, и именно по этой причине они наиболее глубоко обращаются к другим людям, таким как он сам, отчужденным членам всемирной интеллигенции, обездоленным *восстания* дети буржуазных или аристократических родителей, возмущенные несправедливостью или иррациональностью и вульгарностью порядка, поддерживаемого их собственным классом. Маркс говорил с такими людьми и говорит с ними до сих пор, более напрямую, чем с рабочими на фабриках индустриальных стран, от имени которых он якобы обращается к человечеству. Пролетариат Маркса — это класс, в некоторой степени сконструированный по собственным спецификациям Маркса, как сосуд для переноса сосудов его оправданного гнева. Его функция в его системе аналогична функции его полной противоположности — расовых элит *Конингшм Танкреди Лотарьи Контарини Флемингу* Дизраэли — как голос автора, идеализированные люди, с которыми и с чьими недугами автор себя отождествляет, платформа, так сказать, с которой он может направлять свой огонь. Класс, воплощающий видение писателя, несмотря на все разговоры о конкретности, остается идеализированным.

Позвольте мне повторить мой тезис. Когда Маркс говорит от имени пролетариата, в частности, когда он изменяет историю социализма (и человечества), утверждая, что нет общих интересов между пролетариями и капиталистами, и, следовательно, нет возможности примирения; когда он настаивает на том, что нет общей почвы, и, следовательно, нет возможности обратить противников человечества призывами к общим принципам справедливости, или общему разуму, или общему стремлению к счастью, поскольку таких вещей не существует; когда, тем же самым образом, он разоблачает призывы к гуманности или чувству долга буржуазии как всего лишь жалкое заблуждение со стороны их жертв и объявляет войну на уничтожение капитализму и пророчит победу пролетариата как неумолимый приговор самой истории, победу человеческого разума над человеческой иррациональностью, — когда он говорит все это (и фактически является первым, кто это сказал, ибо пуритане и якобинцы, по крайней мере, сделали это

in theory, allow the possibility of persuasion and agreement), it is difficult not to think that the voice is that of a proud and defiant pariah, not so much of the friend of the proletariat as of a member of a long humiliated race. *The German Ideology*, *The Communist Manifesto*, the polemical pages of *Das Kapital*, are the works of a man who is shaking his fist at the establishment and, in the manner of an ancient Hebrew prophet, who speaks in the name of the elect, pronouncing the burden of capitalism, the doom of the accursed system, the punishment that is in store for those who are blind to the course and goal of history, and therefore self-destructive and condemned to liquidation. Marx's idealisation of the proletariat, despite all his own preaching against illusions of this kind, is itself the idealised image of a man craving to identify himself with a favoured group of men who do not suffer from his particular wounds.

I am here not concerned with the validity of Marx's analysis of industrial society and culture: only with its psychological roots in his own personality and predicament. His metamorphosis generates from the role of an itinerant radical journalist that of an organiser and leader of an army of men wholly distinct from his own milieu, at least partly because he needs it, because he is an outsider, because his credentials are doubtful, particularly suspect in a society acutely conscious of social and national origins. His baptism rendered him what Donna Louisa in Sheridan's *The Duenna* describes as 'the blank leaves between the Old and New Testament'¹ (a quip which Disraeli once applied to himself), and he therefore needed to find a secure platform from which to deliver his shafts, from which to organise his forces. Marx did meet members of the proletariat during his life, but not very many; and never became truly intimate with any. He preached to them; he told them what to do; he impressed British trade union leaders, dominated the First International; but his friends, those to whom he could speak, were *déclassés* figures like himself: Engels, Freiligrath, Heine. Particularly Heine, because his antecedents and social and personal outlook resembled his own; they shared an intolerable irritation about their origins, not turned to exaggerated pride like Disraeli's, but viewed as a maddening fact (as it was by other gifted and acutely sensitive men, caught and isolated in a similar impasse, by Pasternak in *Dr Zhivago*, for example, who suffered from similar ancestral trouble). It is one thing not to believe in the dominant importance of race, tradition, nationality, religion; still less not to wish to

¹ Act 1, scene 3.

БЕНДЖАМИН ДИЗРАЭЛИ И КАРЛ МАРКС

(если теоретически допустить возможность убеждения и соглашения), то трудно не подумать, что это голос гордого и дерзкого изгоя, не столько друга пролетариата, сколько представителя долго унижавшейся расы. *Немецкая идеология, Коммунистический манифест*, полемические страницы *Капитал*, являются творениями человека, который грозит кулаком существующему порядку и, подобно древнееврейскому пророку, говорит от имени избранных, провозглашая бремя капитализма, гибель проклятой системы, наказание, которое уготовано тем, кто слеп к ходу и цели истории, и поэтому саморазрушителен и обречен на ликвидацию. Идеализация пролетариата Марксом, несмотря на все его собственные проповеди против иллюзий такого рода, сама по себе является идеализированным образом человека, жаждущего идентифицировать себя с привилегированной группой людей, которые не страдают от его особых ран.

Меня здесь не интересует обоснованность анализа Марксом индустриального общества и культуры: только его психологические корни в его собственной личности и затруднительном положении. Его метаморфоза порождает из роли странствующего радикального журналиста роль организатора и лидера армии людей, полностью отличных от его собственной среды, по крайней мере, отчасти потому, что он в этом нуждается, потому что он аутсайдер, потому что его полномочия сомнительны, особенно подозрительны в обществе, остро осознающем социальное и национальное происхождение. Его крещение сделало его тем, чем Донна Луиза в Шеридане *Дуэнья* описывает как «чистые листы между Ветхим и Новым Заветом»¹ (шутка, которую Дизраэли однажды применил к себе), и поэтому ему нужно было найти надежную платформу, с которой он мог бы посылать свои стрелы, с которой он мог бы организовывать свои силы. Маркс встречался с представителями пролетариата в течение своей жизни, но не очень много; и никогда не был по-настоящему близок ни с кем. Он проповедовал им; он говорил им, что делать; он производил впечатление на британских профсоюзных лидеров, доминировал в Первом Интернационале; но его друзья, те, с кем он мог говорить, были *деклассируемые* такие же фигуры, как он сам: Энгельс, Фрейлиграт, Гейне. Особенно Гейне, потому что его прошлое, а также общественное и личное мировоззрение напоминали его собственное; они разделяли невыносимое раздражение по поводу своего происхождения, не превращавшееся в преувеличенную гордость, как у Дизраэли, но рассматриваемое как сводящий с ума факт (как это было у других одаренных и остро чувствительных людей, пойманных и изолированных в подобном тупике, Пастернаком в *Доктор Живаго*, например, страдавших от схожих наследственных недугов). Одно дело не верить в доминирующее значение расы, традиции, национальности, религии; еще меньше — не желать

¹Акт первый, сцена третья.

make a fetish of them. It is another fiercely to deny their intrinsic importance, to relegate them (desperately) to the role of superstructure or by-product, with no independent role in history – phenomena which, with the inevitable change in the economic base, will vanish like the evil dreams and irrational fantasies that the wise can recognise in them already.

My thesis is not that anything that either Disraeli or Marx said is false, or even dubious. I do, indeed, think that Disraeli's social and historical views were shot through with extraordinary and, at times, absurd, deeply reactionary, and dangerous fancies; and also that Marx laid too little stress on the play of non-economic factors in history. But that is not the point at issue here. I am concerned with a personal, not a universal, topic: the social predicament in which these exceptionally intelligent, imaginative, ambitious and energetic men of similar antecedents found themselves, and its effect upon them. Even if all that either said turned out to be wholly correct, my thesis – and I advance it cautiously and tentatively, for I am no psychologist – is that one of the sources of the vision of both Disraeli and Marx – what made the former see himself as a natural leader of an aristocratic élite, and the latter as the teacher and strategist of the world proletariat – was their personal need to find their proper place, to establish a personal identity, to determine, in a world in which this question was posed much more insistently than it had ever been posed before, what section of mankind, what nation, party, class they properly belonged to. It was an attempt on the part of those whom history and social circumstances had cut off from their original establishment – the once familiar, safely segregated Jewish minority – to replant themselves in some new and no less secure and nourishing soil. The unambitious, those who merely wished to get by, Isaac d'Israeli, Heinrich Marx, against whose view of life their sons so sharply reacted, managed, like many before and after them, to assimilate peacefully without worrying over-much about who they were and what they were. Their sons, the ironical (and passionate) political romantic, Disraeli, the no less passionate moralist and social theorist, Karl Marx, needed firmer moorings and, since they were not born with them, invented them. They did this only at the price of ignoring a good deal of reality seen by less agonised, more ordinary, but saner men.

The fact that men seek to belong to some group, and that the need for this is a basic need, and that they seek for the recognition by their fellows of their status and their rights – these facts, together with the

Сделать из них фетиш. Другое дело — яростно отрицать их внутреннюю важность, низводить их (отчаянно) до роли надстройки или побочного продукта, не имеющего самостоятельной роли в истории — явления, которые с неизбежным изменением экономической базы исчезнут, как злые сны и иррациональные фантазии, которые мудрые уже могут в них распознать.

Мой тезис не в том, что что-либо из сказанного Дизраэли или Марксом является ложным или даже сомнительным. Я действительно думаю, что социальные и исторические взгляды Дизраэли были пронизаны экстраординарными и, порой, абсурдными, глубоко реакционными и опасными фантазиями; и что Маркс также уделял слишком мало внимания роли неэкономических факторов в истории. Но это не является предметом обсуждения здесь. Меня интересует личная, а не всеобщая тема: социальное затруднительное положение, в котором оказались эти исключительно умные, творческие, амбициозные и энергичные люди со схожим прошлым, и его влияние на них. Даже если бы все, что они сказали, оказалось полностью верным, мой тезис — а я продвигаю его осторожно и осторожно, поскольку я не психолог — заключается в том, что одним из источников видения как Дизраэли, так и Маркса — того, что заставило первого увидеть себя естественным лидером аристократической элиты, а второго учителем и стратегом мирового пролетариата — была их личная потребность найти свое надлежащее место, установить личную идентичность, определить в мире, в котором этот вопрос ставился гораздо настойчивее, чем когда-либо прежде, к какой части человечества, к какой нации, партии, классу они должным образом принадлежат. Это была попытка со стороны тех, кого история и социальные обстоятельства отрезали от их изначального положения — некогда знакомого, надежно изолированного еврейского меньшинства — пересадить себя на какую-то новую и не менее безопасную и питательную почву. Неамбициозные, те, кто просто хотел выжить, Исаак д'Цраэли, Генрих Маркс, против взглядов на жизнь которых их сыновья так резко реагировали, сумели, как и многие до и после них, мирно ассимилироваться, не слишком беспокоясь о том, кто они и что они. Их сыновья, ироничный (и страстный) политический романтик Дизраэли, не менее страстный моралист и социальный теоретик Карл Маркс, нуждались в более прочных якорях и, поскольку они не родились с ними, изобрели их. Они сделали это только ценой игнорирования значительной части реальности, которую видели менее мучимые, более обычные, но более здравомыслящие люди.

Тот факт, что люди стремятся принадлежать к какой-то группе, и что потребность в этом является базовой потребностью, и что они стремятся к признанию своими товарищами своего статуса и своих прав, — эти факты, вместе с

abnormal position of the children and grandchildren of the ghetto in the early nineteenth century, faced, as they were, by an alien and none too welcoming world, do much to explain both the irrationalist fantasies of Disraeli and the rationalist ideals of Marx. Both were outsiders, with no accepted place in society. Both rebelled against the middle-class society of their time, which their fathers were only too anxious to enter; rebelled perhaps largely because of this. Both turned vehemently against the social class from which they came. Disraeli set himself against the tide of what Mill called collective mediocrity,¹ by seeking to preserve and promote the aristocratic élite with which he identified his imaginary ancestors, and offering it a morally acceptable role as defender against the predatory bourgeoisie of the poor, the simple and the weak. Marx more realistically identified the Jews with the bourgeoisie, and attacked it from below, in the name of the insulted and the oppressed. Their origins irked both; they could not accept them, or their own selves, for what they were. Disraeli was obsessed by this. He brought the Jews into everything, irrelevantly and compulsively, and transformed them into something rich and strange in the fantasy which sustained him all his life. Marx virtually shut out all awareness of his ancestors from his conscious thought. When nevertheless it broke through the crust, it did so in the form of violent caricature, the nightmarish product of powerful repression, something that modern psychologists would find it all too easy to interpret.

As Disraeli wrapped himself in the mantle of a mysterious princely being, moving among other superior spirits, lifted high above the teeming multitude by the genius of a 'great' race, so Marx identified himself with an idealised proletariat, the heir to the perfect human society, remote from his own origins and from his environment as a bourgeois intellectual, a purifying source of strength and integrity. Both, at least spiritually, lived at a distance from the class they idealised. Both sought to dominate and guide, identifying themselves with the group conceived in general terms, rather than the real members of it who were to be met in the drawing-rooms and the factories. The doctrines which gave intellectual form to these visions evoked passionate dedication, fervent loyalties, religious worship. Neither Disraeli's mystical conservatism nor Marx's vision of a classless society were, as a rule, viewed by them as testable hypotheses, liable to error,

¹ *On Liberty*, chapter 3: p. 195 in *Utilitarianism, On Liberty, Essay on Bentham*, ed. Mary Warnock (London, 1962).

БЕНДЖАМИН ДИЗРАЭЛИ И КАРЛ МАРКС

Ненормальное положение детей и внуков гетто в начале девятнадцатого века, столкнувшихся с чуждым и не слишком гостеприимным миром, во многом объясняет как иррационалистические фантазии Дизраэли, так и рационалистические идеалы Маркса. Оба были аутсайдерами, не имевшими приемлемого места в обществе. Оба восстали против общества среднего класса своего времени, в которое их отцы очень хотели войти; возможно, восстали в значительной степени из-за этого. Оба яростно выступили против социального класса, из которого они вышли. Дизраэли противостоял течению того, что Милль называл коллективной посредственностью,¹ стремясь сохранить и продвинуть аристократическую элиту, с которой он отождествлял своих воображаемых предков, и предлагая ей морально приемлемую роль защитника от хищной буржуазии бедных, простых и слабых. Маркс более реалистично отождествлял евреев с буржуазией и нападал на нее снизу, во имя оскорбленных и угнетенных. Их происхождение раздражало обоих; они не могли принять их или самих себя такими, какими они были. Дизраэли был одержим этим. Он приносил евреев во все, неуместно и навязчиво, и превращал их во что-то богатое и странное в фантазии, которая поддерживала его всю жизнь. Маркс фактически исключил всякое осознание своих предков из своего сознательного мышления. Когда же оно все же прорвалось сквозь корку, оно сделало это в форме жестокой карикатуры, кошмарного продукта мощного подавления, чего-то, что современные психологи сочли бы слишком легким для интерпретации.

Как Дизраэли облачался в мантию таинственного царственного существа, движущегося среди других высших духов, высоко поднятого над кишасей толпой гением «великой» расы, так и Маркс отождествлял себя с идеализированным пролетариатом, наследником совершенного человеческого общества, далеким от своих собственных истоков и от своего окружения как буржуазный интеллигент, очищающий источник силы и целостности. Оба, по крайней мере духовно, жили на расстоянии от класса, который они идеализировали. Оба стремились доминировать и руководить, отождествляя себя с группой, задуманной в общих чертах, а не с ее реальными членами, которых можно было встретить в гостиных и на фабриках. Доктрины, которые придавали интеллектуальную форму этим видениям, вызывали страстную преданность, пылкую преданность, религиозное поклонение. Ни мистический консерватизм Дизраэли, ни видение Марксом бесклассового общества, как правило, не рассматривались ими как проверяемые гипотезы, подверженные ошибкам,

¹*О свободе*, глава 3: стр. 195 в *Утилитаризм, О свободе, Эссе о Бентаме*, ред. Мэри Уорнок (Лондон, 1962).

correction, modification, still less to radical revision in the light of experience. This could not but be so if, as I wish to suggest, these doctrines sprang, to a degree, from psychological needs to which they were the response: their function was not primarily to describe or analyse reality, but rather more to comfort, strengthen resolution, compensate for defeat and weakness, generate a fighting spirit principally in the authors of the doctrines themselves. Disraeli's open aversion to the rational methods of scientific inquiry, and Marx's identification of scientific method with his own dialectical teleology, and consequent disdain for the more objective, if less transforming recourse to empirical techniques, seem to me to spring from similar psychological roots.

Self-understanding is man's highest requirement. If there is any substance in this thesis, the story of these two sons of newly emancipated fathers, men of dissimilar character, unequal gifts, but placed in a common predicament, may serve as a moral tale, to inspire some and warn others.

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

исправление, модификация, еще меньше — радикальный пересмотр в свете опыта. Это не могло не быть так, если бы, как я хочу предположить, эти доктрины возникли в какой-то степени из психологических потребностей, на которые они были ответом: их функция заключалась не в том, чтобы в первую очередь описывать или анализировать реальность, а скорее в том, чтобы утешать, укреплять решимость, компенсировать поражение и слабость, порождать боевой дух, в первую очередь, у самих авторов доктрин. Открытое отвращение Дизраэли к рациональным методам научного исследования и отождествление Марксом научного метода с его собственной диалектической телеологией и последующее пренебрежение к более объективному, хотя и менее преобразующему обращению к эмпирическим методам, как мне кажется, проистекают из схожих психологических корней.

Самопонимание — это наивысшее требование человека. Если в этом тезисе есть хоть какое-то содержание, то история этих двух сыновей недавно освободившихся отцов, людей с разным характером, неравными дарованиями, но поставленных в общее затруднительное положение, может послужить моральной повестью, чтобы вдохновить одних и предостеречь других.